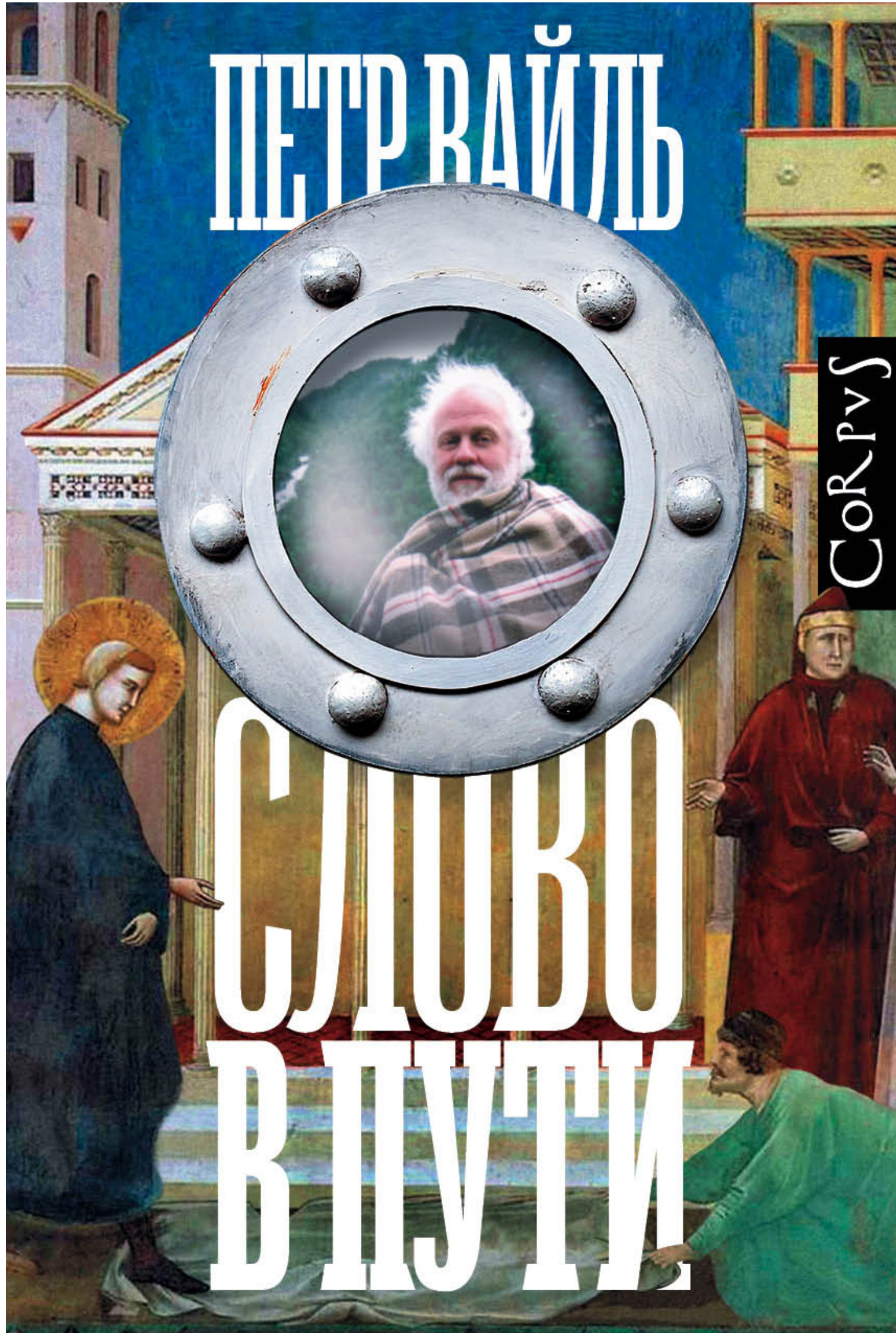


ПЕТР ВАЙЛЬ

CoRpus

СЛОВО  
В ПУТИ



Петр Вайль

**Слово в пути**

«Corpus (АСТ)»

2020

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Вайль П. Л.**

Слово в пути / П. Л. Вайль — «Corpus (АСТ)», 2020

ISBN 978-5-17-134711-6

Петр Вайль (1949–2009) – известный писатель, журналист, литературовед, а также неутомимый путешественник. Его книги «Гений места», «Карта Родины», «Стихи про меня» (как и написанные в соавторстве с А. Генисом «60-е: Мир советского человека», «Американа», «Русская кухня в изгнании», «Родная речь» и др.) выдержали не один тираж и продолжают переиздаваться, а ставший бестселлером «Гений места» лег в основу многосерийного телефильма. В сборник «Слово в пути» вошли путевые очерки и эссе, опубликованные в разные годы в периодических изданиях, а также фрагменты из интервью, посвященных теме путешествий. Эту книгу можно читать по-разному: и как путеводитель, и как сборник искусствоведческих и литературоведческих эссе, и как автобиографическую прозу. В нее также включены три главы из неоконченной книги «Картины Италии», героями которых стали художники Джотто, Симоне Мартини, Пьетро и Амброджо Лоренцетти. В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-134711-6

© Вайль П. Л., 2020

© Corpus (АСТ), 2020

## Содержание

Вместо предисловия	6
I. “Дороги, которые мы выбираем...”	9
Новый год в городе макумбы	9
Костюм Казановы	14
Стол как холст	17
Портвейн у камина	20
Тепло модерна	23
Глоток бургундского	26
Песни левантийской Ривьеры	29
Города-герои	32
Сага об исландцах	35
II. За скобками года	42
Город Старика Хоттабыча	42
За скобками года	44
Самый западный русский город	46
У Лукоморья	47
Туман на болоте	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

# **Петр Вайль**

## **Слово в пути**

Составитель Эля Вайль

Издательство благодарит Сергея Максимишина за любезно предоставленные фотографии на обложку и вкладку № 2.

© П. Вайль, наследники, 2010

© Э. Вайль, составление, 2010

© С. Максимишин, фотографии, 2007, 2008

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Издательство CORPUS ®

## Вместо предисловия

Мало ли чем существенным в жизни можно заниматься, не описывая и даже не имея это в виду. Любовь, семья, профессия, еда – явления самодостаточные. Но путешествовать и молчать об этом – не только противоестественно, но и глупо. Более того – невозможно.

Вяземский в “Старой записной книжке”: “Вчера приехал Тургенев. Он отдумал ехать в Ирландию, убоясь моря и рвоты, а в Шотландию – потому, что некуда писать оттуда. Брат лучше его знает все, что будет он ему описывать, а меня в России нет...” Так и не увидел Александр Тургенев Ирландии и Шотландии. А они – его.

Движение тут встречное, взаимообогащающее. Место выигрывает от визита вдумчивого наблюдателя, пожалуй, больше, чем он сам. Он что, он – частность, а страна и народ превращаются в стереотип, и, в конечном счете, очень важно для всякой жизни – социальной, политической, экономической, – в какой именно.

Крайний и оттого лабораторно чистый – советский случай. Лишенный собственной возможности передвигаться по миру читатель населял планету тем, чему позволено было стоять на полках. Там одновременно жили французы конца XVIII века из “Писем русского путешественника”, малайцы середины XIX столетия из “Фрегата “Паллада””, новогвинейские папуасы 80-х годов того же века из Миклухо-Маклая, американцы 30-х уже следующего столетия из “Одноэтажной Америки”, африканцы и южноамериканцы 50-х Ганзелки и Зикмунда. И т. д. Каша в голове, но любая каша лучше, чем пустой котелок. Мир получался по-страбоновски дикий, но получался. Хорошо, если “страбон” попадался добросовестный и доброжелательный.

А само-то желание описывать свою дорогу неистребимо, иначе лучше сидеть на печи, довольствуясь тем, что напыщенно и искусственно именуется “путешествия духа”. Словно одно противоречит другому.

Путешествие – вовсе не поиск незнаемого. Путешествие – способ самопознания.

Чтобы понять, кто ты и зачем, существуют разные способы. Большинство из них затруднительны умственно или физически: углубленное изучение философии, погружение в религию с молитвой и аскезой. Не всякому под силу. Есть метод более доступный, веселый и комфортабельный – отправлять в дорогу не дух и разум, а тело. Каждому известно, что он повсюду разный: дома – один, в деловой поездке – другой, в курортном отпуске – третий, и уж вовсе на всех троих не похожий – в чужой стране.

Как нас учили в школе: чем больше точек – тем точнее график. По пунктам собственных передвижений вернее выстроится график твоей жизни, и ты, может быть, больше о себе поймешь.

Сейчас мне кажется, что осознал это очень рано, – может, додумываю. Но помню с волнением, как мы всей семьей громоздились в грузовик поверх мебели и начинался путь из центра Риги к берегу нашего мелкого и холодного Рижского залива, где проходили три месяца – самые увлекательные в году, потому что исполненные захватывающей новизны.

Дорога занимала не больше часа, но была именно *путешествием*. Сильно подозреваю, что тогда и возникла не утихающая по сей день страсть к перемещениям в пространстве. Ведь все оказывалось новым: не говоря о растительности и архитектуре, даже люди представляли другими. В городе вокруг меня все были русские, а дачи снимались у латышей, их дети давали первые уроки двуязычия. С ними мы играли не только в футбол и пинг-понг, но и в сугубо “дачный новус” – игру, известную, кажется, только в Латвии и Эстонии (квадратный стол, по которому киями на манер бильярдных загоняли в лузы деревянные шайбы). Все было не так. И важнейшее обстоятельство: новым, иным, малознакомым самому себе оказывался ты сам. На себя можно было – и приходилось – поглядеть со стороны.



Если бы у меня было столько денег, чтобы о них не думать, я бы очень медленно путешествовал по миру. Приезжал бы в какое-то место, снимал жилье, ходил на рынок, пытался болтать с торговцами, готовил тамошние блюда, листал местные газеты, вперялся в телевизор, болел за городскую футбольную команду. Потом, через несколько месяцев (а может, лет), уезжал, узнав довольно много о них – из любопытства, и еще больше о себе – из настоящей внутренней потребности. Потребность эта есть у каждого, только не все сознают и не все признаются.

Давно уже стараюсь совмещать перемещения в пространстве с перемещениями во времени. То есть становится все более интересно приезжать не в новые места, а в те, где уже бывал. Места-то не изменились – изменился ты. И то, как по-другому воспринимаешь нечто прежнее, опять-таки что-то скажет тебе о тебе. Это как перечитывать классику. “Анна Каренина”, прочитанная в двадцать лет, – одно, в сорок – совершенно другое.

Писатели осознали целебность перемещений раньше других. Или – наоборот – эти, кто осознал, и стали первыми писателями?

Во всяком случае, одна из первых в истории человечества книг, которая может быть названа книгой, – египетский папирус, хранящийся в Эрмитаже: “Потерпевший кораблекрушение”. Наследие Среднего царства – примерно четыре тысячи лет назад. Корабль отправился на фараонские рудники, в буре все погибли, спасся один автор, а зашедшее на остров судно вырвало его. Написано от первого лица – классический жанр путешествия.

Надо ли напоминать, в каком жанре создана основа основ всей западной литературы – гомеровская “Одиссея”?

А что есть Деяния святых апостолов с их приключенческими перемещениями по Восточному Средиземноморью: Ближний Восток, Малая Азия, Кипр, Греция, Рим, наконец? Специфика жанра допустила здесь самое забавное во всем Писании место: “Иные насмехаясь говорили: они напились сладкого вина. Петр же <...> возвысил голос свой и возгласил им:...Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня” (Деян. 2: 13–15). Делов-то – среди дня выпить. Подобные бытовые детали – неотъемлемая часть, строительный материал литературы путешествий.

В реальных и виртуальных странствиях наглядно и ощутимо убеждаешься в колоссальной важности географии для характера страны и человека. Применительно к России об этом писал Ключевский, но надо же посмотреть и потрогать самому.

Чем слабее цивилизация, тем важнее география. Даже Москва, не говоря о глубинке, зимой – город Третьего мира, при том что вполне северные Стокгольм или Осло почему-то круглый год одинаково приемлемы. В централизованном государстве с огромной территорией вырабатываются тяжелые комплексы провинциальной неполноценности: все эти вопли трех сестер “В Москву! В Москву!”. И наоборот: в виде компенсации за заброшенность появляется мощная местная мифология, вроде той, которая проводит ось планеты через Пермь. Возмещающий отрыв от Большой земли, дальневосточные поэты, которые мне встречались в Хабаровске, пишут космические абстрактные стихи, в которых нет ни малейшей местной особенности. По-другому, чем столичные политики, держатся правители отдаленных областей. Чем дальше от Москвы, тем сильнее и разветвленное миф о зловещем злокозненном центре.

Что до личных взаимоотношений человека с местом – связь несомненна. Иногда – пугающе явственна: как в любви-ненависти Джойса к Дублину или Флобера к Руану, в превращении Барселоны в город Гауди, а Эль Греко – в художника Толедо, в стилистическом соответствии Малера Вене. В русской культуре – не представимый нигде, кроме Петербурга, Достоевский, мыслимый только в Москве поздний Булгаков, одесский Бабель. Каждый из нас знает, как связаны душевные переживания с декорациями, в которых они происходят, – с пронизательной силой это дано у Пастернака в “Марбурге”, где город выступает непосредственным участником любовной драмы.

Гляди. Замечай. Чем обильнее замеченные и названные предметы покрывают землю, чем вернее их число стремится к неисчислимому множеству, тем больше пространство походит на время. И тогда нанизанные на путеводную нить объекты словно получают четвертое измерение, становятся временными сгустками, фиксируют твое передвижение по миру и по жизни.

Странствие выполняет по отношению к пространству ту же функцию, что текст по отношению к листу и речь по отношению ко времени: заполняет пустоту.

Смысл словесности путешествий, в которой происходит реализация метафоры “жизненный путь”, – расстановка вех в памяти. Попытка запечатлеть настоящее. Веха, имеющая имя и адрес, – конкретна.

Такие опоры существуют в литературном творчестве всегда, но жанр путешествия позволяет их строить из практически чистого материала: автор имеет дело с реальностью, не нагруженной никакими иными ассоциациями, кроме только что возникших.

Цель скитаний – возвращения. Странствия одомашнивают пространство, и, чем больше становится прирученных мест, тем больше возвратов. Тем выше вероятность нового прихода домой.



## I. “Дороги, которые мы выбираем...”

### Новый год в городе макумбы

Самый удивительный Новый год в моей жизни – бразильский, в Рио-де-Жанейро, на Копакабана. Хотя диковины начались с другого пляжа – Ипанема: там я жил, что невероятно, и вот почему. Двадцать пять лет назад, во время службы в Советской армии, мой однополчанин, джазовый пианист, ныне известный музыкант и критик Олег Молокоедов, прокрутил мне пленку певицы Аструд Жильберто – “Девушку с Ипанемы”. Мы тогда увлекались очень прозой Альбера Камю, Сартра, других экзистенциалистов и нашли общее с этой прозой в песне: та же внешняя бесстрастность при насыщенной чувственности, знаменитый “нулевой градус” письма, в данном случае – пения.

Через два десятка лет, в иной жизни и совсем другом полушарии, я пошел на выступление Аструд Жильберто в Нью-Йорке, в джазовом клубе *S.O.B.* Она оказалась стройная, моложавая, веселая и пела так же, как тогда, в каптерке нашей казармы. Я подошел к ней и рассказал о восторгах ефрейтора Советской армии. Певица была заметно тронута – такой экзотики она никогда не слыхала – и тут же предложила исполнить песню по моему заказу. Понятно, это была “Девушка с Ипанемы”.

И понятно, что в первый же вечер в Рио-де-Жанейро я пошел разыскивать ресторан, где была написана песня. В 62-м году бразильский композитор Антонио Карлос Жобим с приятелем, поэтом Винисиусом де Мораисом, сидели в своем любимом ресторане и увидели проходящую по улице ту самую девушку с Ипанемы. У нее есть имя – Элоиза Пиньеро, сейчас она мать четверых детей и живет в Сан-Паулу. Но тогда она была “девушкой с Ипанемы” и вдохновила Жобима и Мораиса там же, прямо на салфетке, записать песню, которая стала одной из самых популярных мелодий нашего времени.

Сейчас ресторан – достопримечательность. В нем нет ничего особенного, кроме названия – *Garota de Ipanema*: на стене увеличенная копия нот на исторической салфетке. Сидя на открытой террасе, глядишь на девушек, которые, надо сказать, очень вдохновляют. Мы поделились впечатлениями с женой и несколько разошлись во мнениях.

\* \* \*

Дорого раздеться – дороже, чем дорого одеться.

Самые дорогостоящие наряды рядовой праздный наблюдатель может увидеть вовсе не на Пятой авеню или Елисейских Полях, даже не краем глаза по телевидению, а на пляже. Простая арифметика: цена одного квадратного сантиметра купальника достигает десятка долларов. Платья и шубы такой стоимости (или таких размеров) еще не изобретены.

Нигде не владеют этим искусством так виртуозно, как на пляжах Рио-де-Жанейро. Здесь доведена до высшей невидимости идея бикини, сама по себе ставшая революционной более чем полвека назад. Не зря купальник из двух частей с линией трусов не по талии, а по бедрам, назвали по имени атолла Бикини, где в 46-м испытали атомную бомбу. Взрыв пляжной моды оказался долговечнее ядерного, разметав эротические осколки по всем побережьям мира. Пляжи Рио сделали неким испытательным полигоном, откуда и явились на свет те три треугольника на ниточках, которые человечество негласно договорилось считать предметом одежды.

При всем этом нудистов Рио не приветствует: все-таки Бразилия – католическая страна. Католицизм, правда, не мешает как угодно изменять творение Божье по произволу самого творения. В Рио пластическая хирургия процветает, что понятно: нигде нет такой надобности и возможности применения профессиональных навыков, такой площади открытого тела.

Рио – голый город. Кто не был – представить трудно. Море морем, но и в десятке кварталов от него встречаешь матрону в откровенном купальнике, выбирающую овощи на зеленом прилавке. В нотариальную контору заходит солидный мужчина с сигарой: на нем ничего, кроме плавок. Я видел, как две женщины в строгих офисных костюмах вышли на пляж, быстро разделись, сбросив тонкое сукно, остались в тончайших цветных полосках и бросились в воду. Одевшись, выпили у тележки на колесах по стакану свежавыжатого сока манго и ушли на высоких каблуках. Называется – обеденный перерыв.

Шорты и сандалии выглядят здесь пиджачной парой, майка – смокингом, на длинные брюки оглядываются.

Пляж определяет дух и стиль Рио: что взять с голого человека, чей удел – купаться, приплясывать, подбрасывать мяч и глазеть на окружающих (сколько же прекрасных часов я провел, разглядывая купальники, что ли... Ну пусть будет – разглядывая купальники).

Вокруг пляжа клубится деловое процветание Рио: производство кремов для и от загара, спортивного наземного и водного инвентаря, бешеного ассортимента купальников и солнечных очков; индустрия красоты (та же косметическая хирургия); здешнее повальное увлечение – торговля свежавыжатыми соками в сотнях околорыбных *juice-bar*’ов; знаменитейший (наряду с кофе) бразильский экспорт – футбол, многие звезды которого начинали с мальчишеских игр на пляже.

Пляж господствует и в географии города. В Рио причудливым образом многоэтажные кварталы сменяются девственными лесами, а когда, счастливый, что попал-таки в вождеденные джунгли, смотришь на карту, то обнаруживаешь себя все-таки в городском центре. В этот природно-градостроительный хаос только пляж вносит ясность – потому что тянется вдоль незыблемого океана, что ровен и плавлен, что охватывает гигантской дугой легендарный город. Собственно, это цепь перетекающих друг в друга пляжей. С востока на запад, от горы Сахарная Голова – некогда пристойные Ботафого и Фламенго, ныне известные скорее футбольным болельщикам (так называются местные команды); наиболее демократичные и знаменитые – Копакабана, Ипанема; фешенебельные Леблон и Сан-Конрадо.

\* \* \*

Самба – самая легкомысленная, самая расслабляющая музыка в мире, и весело смотреть, как распушенно выглядят респектабельные туристы откуда-нибудь из Германии, розовые, в белых панамках, отчаянно приплясывающие под звуки самбы. И тем большим сюрпризом оказывается серьезность самбы. Об этом узнаешь, попав на богослужение культа макумбы.

Макумба – языческий культ, религия африканских негров, привезенная сюда, в Бразилию, вместе с самими неграми-рабами и не только прижившаяся на новом континенте, но и процветающая. Об этом не совсем прилично говорить вслух, тем более что Бразилия считается самой большой католической страной в мире: по официальным данным, 90 процентов ее 140-миллионного населения – католики. Это правда, но правда и то, что сообщают данные неофициальные: от 60 до 80 процентов бразильцев в той или иной степени исповедуют религию макумбы. Их католицизму это не мешает, в чем я убедился наглядно.

Наш гид, мулат Марселло, сделался серьезен, когда я потребовал, чтоб он устроил посещение терьеро – храма макумбы, ушел звонить, вернулся торжественный и сказал, что в восемь вечера мы отправляемся. Мы отправились и долго-долго ехали среди холмов куда-то за Рио.

Над калиткой кованого железа на фанерной табличке значилось: “Церковь Святого Иеронима”. Мы прошли по дорожке в помещение вроде складского: беленые стены, крыша из гофрированного алюминия. По просторному залу бродили человек двадцать в белом и босиком – жрецы и служки. Отделенные от зала низким барьером ряды стульев, где уже сидели тридцать-сорок прихожан. Посторонних и одновременно белую расу представляли мы с женой.

Сначала мне показалось, что попал на новогодний вечер в младших классах сельской школы. Стены и потолок украшены изделиями из фольги и разноцветной бумаги: звезды, рыбки, сабли, короны, молнии, веера. На нитках свисали конфеты в серебряных бумажках. При этом имелся алтарь с деревянной скульптурой – полный христианский пантеон: Иисус, Богоматерь, Иоанн Креститель, святой Себастьян, Франциск Ассизский. Это те, кого я смог опознать в незатейливых изображениях, опять-таки напоминающих детские поделки.

В правом ближнем углу размещалась так же примитивно изготовленная сцена Рождества, над которой почему-то вздымалась голая коричневая женщина из картона. Рядом стояла серебристая лодка с большой, в человеческий рост, русалкой из фольги. “Это Иеманья, морская богиня”, – сказал Марселло, которому было как-то неуютно: жрецы на нас внимания не обращали, но прихожане перешептывались и показывали пальцами.

Посреди зала стояла плоская с цветами и нарезанными крутыми яйцами (символ Солнца), перед которой склонялись все входящие, заламывая руки и бормоча. Затем каждый прислонялся лбом и руками к стволу дерева, обвитому голубой лентой и прорастающему прямо сквозь алюминиевую крышу. От плоскости и ствола переходили к алтарю, где так же кланялись Христу и Богоматери. Затем – морской богине из конфетной бумажки.

В половине десятого грохнули три барабана и твердым, хорошо поставленным голосом что-то красиво-угрожающее запела девушка, которая так, не садясь, не прерываясь, пела три с половиной часа. Это было антифонное пение: когда солист выдает куплет, а хор отвечает. Жрецы, произвольно расположившиеся по залу, слаженно пели, не двигаясь с мест. Я спросил Марселло, где же пляски, он поднял большой палец, что у бразильцев означает и удовлетворение, и предостережение, и обещание. Мы стали ждать, и на третьем песнопении началось перетоптывание, к пятому перешедшее в припляс, припадание на колени, легкие прыжки. Примерно с восьмой молитвы начался шабаш.

Я сразу выбрал себе три объекта. Толстуха в желтом платье, опоясанная широким белым полотном, выглядела самой активной. Красавица, с правильными строгими чертами, выделялась молодостью. Старуха, седая и мужеподобная, поражала исступленным взглядом, направленным в никуда.

На исходе второго часа Старуха со страшным лицом маршировала взад-вперед, дико вскрикивая и перегибаясь назад так, как человеку не дано перегибаться. Поправляя великолепные волосы, Красавица отходила в угол, выбегала на середину, издавая вопль такой силы и пронзительности, что у меня каждый раз останавливалось сердце, хотя можно было, кажется, привыкнуть, наклонялась, метя рассыпавшимися волосами земляной пол. С не подобающей ее фигуре грацией кружилась Толстуха, время от времени падая плашмя всем своим большим туловищем перед алтарем. Трижды ее уводили служительницы, назначенные, как я заметил, следить за коллегами, куда-то за кулисы и отпаивали водой, после чего Толстуха возвращалась, чтобы снова так же неистово закружиться и снова так же впечатляюще грохнуться на пол.

Другие не отставали. Почти не сходя с места, гремя бусами и тряся головой, плечами, руками, впадали в полную прострацию жрецы-мужчины. Женщины отчаянно кружились и бегали, истошно крича, извиваясь, переламываясь, валясь на колени и навзничь.

При всей чувственности криков и телодвижений, в радении макумбы нет ничего сексуального. Это предусмотрено даже и технически: под широкие белые балахоны надеты или нижние юбки, или, как у Красавицы, короткие, до колен, панталоны, так что при самом бешеном вращении не выказывается никакой непристойности. И когда они все, без различия пола, стали

обниматься и целоваться и к ним в объятия ринулись прихожане – в этом тоже не было ни йоты плотского оттенка: чистая, кристаллизованная, материализованная, явленная в движениях и звуках одушевленность.

Уже Старуху, забившуюся в конвульсиях, унесли в угол к алтарю и поливали водой. Уже извели все бумажные салфетки обливающиеся потом барабанщики. Уже Толстуха, рухнувшая перед главным жрецом в зеленом колпаке, не могла встать и только приподнимала голову и даже не кричала, а сипела. Уже певица стала давать сбои и один раз уронила микрофон. Уже жрецы закурили сигары, а главный – трубку. Уже Красавица издавала не вопли, а просто жалобно визжала. Уже валялись там и сям человек пять, с подергиванием, с пеной на губах, с уханьем.

Марселло сказал, что пора, мы не стали спорить, и я с изумлением понял, что просидел три с половиной часа, не заметив этого, и более того – испытывая если и не желание выйти туда, к ним, в зал, в песнопение и пляску, то отчетливую острую зависть, что они могут так забыться, а я нет.

В этом диком зрелище не было ничего болезненного, надуманного, фальшивого. Катарсис здесь достигается самым простым и действенным путем: не интеллектуальным, а эмоциональным. Что-то подобное я уже видал – на исполнении негритянских госпел-сонгов в гарлемских церквях. И когда ты погружаешься – не до конца, разумеется, этого нам не дано, мы слишком рациональны – в такую сугубо чувственную стихию, то понимаешь дикарскую гармонию всех несопрягаемых, казалось бы, деталей. Древние барабаны – и микрофон. Христос – и русалка Иеманья из фольги. Сцена Рождества – и картонная женщина с голой грудью. Ухоженные ногти с лаком – и истошные крики с конвульсиями. Иоанн Креститель – и сабельки из цветной бумаги. Исповедь – и сигара.

Макумба – это эклектика в чистом виде, даже не культивированная, а просто зафиксированная, можно сказать – взятая из жизни. Хаос макумбы резко противостоит Космосу классических религий, их порядку, четкому ритуалу и расписанию. Макумба легко вмещает в себя все элементы бытия, потому и кажется такой естественной и настоящей. Потому, наверное, так и тянет в этот безумный танец.

Наступивший на следующий день Новый год уже не мог потрясти, но мог – восхитить. И – восхитил!

\* \* \*

Человек, пусть предельно раскованный и свободный, – порождение традиций. Даже не воспитания и образования, а именно традиций, на наследственном уровне. Мы твердо знаем: Рождество и Новый год – снег, елка, разноцветные шары на ней. Нам более или менее все равно, что Рождество случилось на совсем иных широтах, где всего перечисленного не было и не бывает. А коль скоро мы празднуем то, что началось там, на бесснежном средиземноморском Востоке, получается – это мы не правы. Но универсальные радости оттого и универсальны, что охватывают всех и все. Снег – наше прочтение песка, остроконечная елка – преображение остроконечной пальмы, цветные зимние шары срисованы с зимних плодов – апельсинов и лимонов. Так что Новый год на берегу теплого моря – скорее возвращение к естественным истокам, чем поиски экзотики.

Новогодние бразильские радости – даже не в климате и температуре, доходящей здесь в декабре-январе до тридцати градусов, а в том редкостном и захватывающем ощущении праздничного единства, которое преподносит Рио.

\* \* \*

Свой самый экзотический Новый год в жизни я встречал в плавках на пляже, ничуть не выделяясь из толпы, потому что был еще и в белой рубашке. Это важно: в новогоднюю ночь все кариоки (жители Рио) выходят на главный пляж города – Копакабану – в белом и с цветами. Впрочем, цветами побережье украшено еще с раннего вечера. Уже часов в шесть женщины в белом начали выкапывать неглубокие ямки в песке, обставляя их белыми гладиолусами и розами, складывая внутрь цветочного круга подношения богине моря Иеманье – духи, благовония, конфеты, яблоки, бананы. В каждой второй ямке лежала бутылка – качасы (водки из сахарного тростника), рома, вина, шампанского. И уже тогда эти женщины в белом выходили на кромку берега, шевеля губами, высматривая что-то на горизонте, а потом резким отчаянным жестом бросали в прибой букеты.

Ближе к вечеру на Копакабану стали собираться толпы, и к половине двенадцатого давка на пляже напоминала утреннее нью-йоркское метро. Все в белом, с цветами и бутылками. Женщины (мужчины все это время ведут себя безучастно, лениво беседуя друг с другом) начали зажигать свечи, поставленные в кружок внутри цветочного круга.

И тут грянул фейерверк. По всей восьмикилометровой дуге Копакабаны разом взорвались ракеты. Отель “Меридиен” облился цветovým водопадом. Гора Сахарная Голова стала видна как днем. Легко различались номера запаркованных на набережной машин. Хлопнули пробки. На меня внезапно набросилась большая черная женщина и стала целовать. Я еще не успел сообразить, чему приписать такой приступ страсти, как меня уже обнимал ее муж, пожилой мулат. Черная женщина переключилась на мою жену. Выяснилось, что целуются все со всеми.

Мы налили соседям шампанского, они нас угостили качасой и широким жестом пригласили в воду, дав при этом чайную розу. Ряды за рядами шли в океан, не снимая туфель, не подтягивая штанов, не подбирая юбок – кто по колено, а кто и окунаясь с головой. Главное было подальше забросить цветы, чтобы волна не вынесла их обратно: это бы значило, что Иеманья не принимает дара и ничего хорошего в новом году не ждет. Более обстоятельные запускали лодочки, которыми тут же оживленно торговали мальчишки: лодки, нагруженные подношениями из песочных ямок, отправлялись вслед за цветами. Большая компания снарядила целое судно метра в три длиной, и первая же прибойная волна разбила его вдребезги, выкинув на берег. Толпу потряс страшный горестный вопль.

Правда, в воплях недостатка не было. Возле свечных кругов начались пляски с пением, криками, прыжками, падениями, полубморками.

\* \* \*

На следующий день я вышел на Копакабану в семь утра и пошел к Ипанеме. Передо мной расстилался знойный даже ранним утром пляж, в котором не было ничего новогоднего, зимнего, елочного. Я пытался найти следы ямок и подношений морской богине, но за ночь Иеманья заровняла песок и забрала питье и закуску. Не видать было никаких белых балахонов. Над Сахарной Головой вставало ослепительное – уже – солнце, и, пользуясь его правильными утренними лучами, на пляж выходили голые люди, то есть одетые так, как одеваются зимой в Рио.

## Костюм Казановы

Желание раздеться и желание одеться – два главных искушения человека и человечества.

Первый соблазн ярче всего явлен в Рио-де-Жанейро, второй – в Венеции. Если Рио – самый раздетый город планеты, то Венеция – самый одетый. Нет, она не опережает по богатству и многообразию нарядов другие города Северной Италии. Боже упаси обидеть, например, Милан – с его душераздирающей (имеется в виду та часть души, которая ближе к карману) улицей Монтенаполеоне. Витрины музейной красоты и почти музейной недоступности, где в последние два-три года появились надписи на нашем родном языке, и не только объяснимые деловые, вроде: “Принимаем наличные”, но и трогательные: “Заходите, можно просто посмотреть”. Можно и даже нужно – чтобы, как выражаются модные женщины, “наметать глаз”, то есть понять, что и как нынче носят. Это необходимо – потому что без таких минимальных знаний и зрительных навыков не насладиться в полной мере уличной жизнью североитальянских городов.

Дивное зрелище являет собой эта толпа, в особенности зимняя. Летняя – парадоксальным образом ярче, но монотоннее: на тех клочках, которые составляют одежду, не развернуться фантазии. Зимой же многовариантность покровов шуб, пальто, плащей, фасонов туфель, ботинок, сапог – ошеломляет. Общее здесь лишь одно – гармония и адекватность. У меня не хватит смелости утверждать, что женщины Северной Италии красивее других, но то, что они элегантнее и привлекательнее – готов отстаивать с тупой отвагой или более современно: в суде любой инстанции. Пусть ребята в мантиях просто выйдут на миланскую виа Данте или на флорентийскую виа Торнабуони – вопрос будет решен.

Венеция не превосходит нарядами богатые соседние города. Не шикарнее и не изысканнее упомянутых улиц набережная Рива-дельи-Скьявони (по иронии истории, в переводе – Славянская набережная). Но нет города в мире, где бы одежда стала живой мифологией – благодаря карнавалу. Карнавал – удвоение наряда. Точнее – одежда в квадрате.

В XVIII веке карнавальная жизнь продолжалась месяцами, и около двухсот дней в году венецианцам позволено было носить маскарадный костюм. Сейчас этот праздник длится – правда, с бешеной интенсивностью – всего десять дней. Но именно традиция карнавала, выпадающего – в зависимости от Пасхи – на февраль или начало марта, заложила отношение к зимнему наряду. А поскольку истинный венецианец к самому карнавалу относится пренебрежительно, как к туристскому шоу (тем не менее великолепному!), то старательнее всего Венеция одевается к Рождеству и Новому году. Лучшие витрины на Мерчерии – в декабре. На рынке Риаальто в предрождественские дни глазеешь вовсе не на бесконечное разнообразие даров земли и моря, а на тех, кто складывает эти дары в сумки. На периферии памяти маячат покупки в купальниках, но покупки в шубах их затмевают – и это правильное качание маятника.

Два главных соблазна – желание раздеться и желание одеться.

Первая страсть определяет демографическую картину мира, а демография – в конечном счете, важнейшая из наук, имеющая отношение к повседневному бытию: чем гуще селится человек – тем хуже живет.

Второй соблазн всегда был движущей силой цивилизации: не ради хлеба насущного воевал и плавал мужчина, а чтобы украсить себя и своих женщин. Что искали навигаторы и землепроходцы, совершая великие открытия? Пряности, золото, драгоценные камни, меха. Не кукурузу же. Неистребимое влечение к излишествам правит миром.

Цивилизацию следует отсчитывать с того момента, когда наш непричесанный и неумытый предок, руководствуясь бесполезными эстетическими соображениями, подрезал заброшенную на себя длинную теплую шкуру каменным ножом (так подлинное искусство кино нача-

лось не со съемки, а с монтажа). Крой шкуры – знак самоощущения личности. Цивилизация и есть одежда: голый человек покрывал себя слой за слоем религией, моралью, правом, культурой, этикетом, нарядами. Одевался.

Никто никогда в истории не одевался так тщательно и с таким осознанием важности наряда, как венецианцы. И наивенецианнейший из всех – Джакомо Казанова.

Казанова оказался так задрапирован предрассудками, что только в последнее время усилиями историков, культурологов, литературоведов превратился из Луки Мудищева в философа и писателя, автора увлекательной и мудрой книги мемуаров – “История моей жизни”. Он и был философом жизни, утверждавшим, что потерял лишь один день, когда после маскарада в Санкт-Петербурге в декабре 1764 года проспал 27 часов подряд. Казанова довел до высочайшего мастерства природный дар итальянцев – умение извлекать смысл не из жизни вообще, а из каждого конкретного дня.

В таком высоком ремесле значимо все. Одевался Казанова продуманно, рассчитывая, какое впечатление следует произвести. Он так увлечен идеей наряда, что для него и презерватив – одежда: “Маленький костюм из очень тонкой и прозрачной кожи, длиной в восемь дюймов и без выходного отверстия, который завязывался на входе узкой розовой ленточкой”.

В “Истории моей жизни” все мало-мальски существенные персонажи – одеты. То есть Казанова отмечает их наряд, тем самым помещая в точный социально-психологический контекст. Как писал на сто лет позже Оскар Уайльд, только очень поверхностные люди не судят по внешности.

Естественно, тщательнее всего одет герой, он же автор мемуаров. Сохранилась расписка 1760 года: Казанова заложил кое-что из своей одежды – бархат, горностай, атлас, гипюр, кружева.

Так обстоятельно и подлинно одевается нынешняя Венеция. Кожа, мех, шелк, парча – зимний город даже в самые синтетические годы не числил химию среди почитаемых дисциплин. Другое дело – география: несколько столетий Венеция была центром мира и сюда стекалось все, что украшало кабинеты Евгениев Онегиных всех времен.

Сейчас сюда стекаются смотреть на то, что осталось. Не надо преуменьшать: осталось очень много. Удваивающая все вода лагуны и каналов. Удвоенные водой дворцы, храмы, мосты. Мини-музеи мирового класса в каждой церкви. Немыслимая для большого туристского города тишина. Прекрасные овалы женских лиц. Изысканность осанок и облачений. Благородство толпы – что вообще-то есть парадокс, оксюморон, вроде черного снега.

Снега в новогодней Венеции ждать не стоит, а вот нарядная новогодняя толпа здесь празднична и сдержанна – тоже парадокс. К одиннадцати заполняется Пьяцетта – площадь, соединяющая Сан-Марко с набережной. Здесь рассаживаются на ступенях Библиотеки Марчиана, под колоннадой Дворца дождей, на сложенных в штабеля деревянных мостках, припасенных на случай подъема воды. Шампанское ударяет с первым залпом фейерверка, равного которому по веселой изобретательности не сыскать.

В последние годы толпа на Сан-Марко с демографической неизбежностью становится все гуще, и я уже присмотрел другое местечко, откуда все выглядит не хуже, а народу поменьше – по понятным мотивам не скажу где. Там мы с друзьями встречали 1999-й и 2000-й, там я подвергся объятиям местного населения с криками “Санта-Клаус, спасибо за подарки!”. Такая судьба: к востоку от Карпат обзывают Карлом Марксом, к западу – Санта Клаусом. Хорош выбор.

“Свой” местечки найдутся у каждого, кто бывал в Венеции больше одного раза: таков этот прихотливый и никогда никому не раскрывающийся до конца город – потому и для всякого свой.

Опытный путник не станет толкаться по избитому маршруту Сан-Марко – Риальто и оттого увидит настоящих венецианцев. В городе без наземного транспорта (нет даже велоси-



педов), где нельзя плюхнуться на сиденье такси и показать адрес на бумажке, конечно, боязно отходить от проторенных троп. Привычно только на острове Лидо, прославленном пляжами, казино, “Смертью в Венеции”, кинофестивалем. Но это Венеция ненастоящая: здесь ездят машины, ходят автобусы. Необходимо уйти в глубины районов Каstellло, Канареджио, особенно Дорсодуро, чтобы взглянуть на город и горожан, хоть бегло понять – каков их облик. Облик неслучаен и выношен. За каждым нарядом – века ритуала, то, что мы неуклюже называем соответствием формы содержанию.

Когда венецианская инквизиция пришла в 1755 году арестовать Казанову за вольнодумство, он долго и тщательно совершал туалет, будучи уверен, что красиво и дорого одетый человек не может выглядеть виновным. Однако инквизиторы оказались лишенными эстетического чувства, и 15 месяцев Казанова просидел в Пьомби – страшной тюрьме под свинцовой крышей Дворца дождей. И вот тут – лучший в “Истории моей жизни” пассаж. Казанова совершает невозможное – побег из Пьомби: героический поступок, который для любого другого стал бы содержанием и рассказом всей жизни. Совершив акробатические трюки и атлетические подвиги, изодранный, окровавленный Казанова вырывается на волю, наскоро переодевается и выходит к лагуне: свобода! “Повязки, выделившиеся на коленях, портили все изящество моей фигуры”. Кто еще в мире способен на такую фразу?!

Казанова не хвастлив – слишком красноречива сама его жизнь. Оттого так заметно выделяется трогательное самодовольство, с которым он рассказывает, как дарил своим любовницам наряды, сам выбирая их: “В размерах я не ошибся ни разу”.

Так вот и хотелось бы прожить – чтобы не было мучительно больно за ошибки в размерах. Прежде всего – в своих собственных. Я говорю, разумеется, о масштабе личности.

## Стол как холст

Масштабы меняются – людей, стран. За последние десятилетия сильно и разнообразно выросла Япония.

Лучшие месяцы для посещения страны – апрель и ноябрь. В это время с места снимаются все, отправляясь кто в соседний парк или ближайший лес, кто за сотни километров в специально выбранные места для созерцания. Человек западной (европейской, американской, русской) культуры тоже время от времени куда-то едет что-то посмотреть, что, как правило, оборачивается образовательным по своей сути знакомством с произведениями человеческого гения – Джокондой или Парфеноном. В Японии же возведено в ранг национальной институции простое поглядение на цветы и листья. В апреле цветет сакура. В ноябре желтеет листва.

Новый год здесь примечателен разве что невообразимым числом открыток, которыми обмениваются японцы. Социальный статус человека определяется количеством полученных им новогодних поздравлений. Забывчивость ведет к разрыву отношений, небрежность – к ссоре. В последнее время разврат сервиса поразил и японцев, к чьим услугам открытки с готовым типографским текстом. Однако человек приличный возьмет все же авторучку, а человек тонкий – кисточку и тушь.

Я аккуратно посылаю такие поздравления своим японским знакомым, но ездить туда стараюсь в апреле или ноябре. Япония возникает в рождественско-новогоднем сюжете по той причине, что в эти праздники – едят. Едят и в другие, но зимой все располагает к еде долгой и обильной...

Конец века отмечен триумфальным маршем дальневосточной кулинарии – с постепенным смещением от материка к полуостровам и островам. Богатейшее китайское искусство еды чуть отодвигается перед напором более сдержанных в материалах и методах вьетнамской и тайской кухонь, перед лаконичной минималистской японской. В Нью-Йорке за минувшие два-три года едва ли не удвоилось количество японских заведений. Что важно отметить – даже не ресторанов, а закусочных, забегаловок. Мест, где получаешь чашку лапши – пшеничной (удон) или гречишной (соба) – в бульоне и, разумеется, суши. Смена столетий проходит под знаком суши – катышка вареного риса с куском сырой рыбы.

Дело не только в несомненной питательности рыбно-рисового сочетания. Дело в эстетике. У японцев господствует отношение к еде как к красоте. Стол – как живописный холст: пустоты играют в нем такую же содержательную роль, как и предметы. Японский накрытый стол, поставленный вертикально, можно обводить рамой.

Предел гастрономического лаконизма – в чайной церемонии. Подается не торт или пирог, перебивающие все вкусовые акценты, а маленькое печенье по сезону: весной – в виде цветка сакуры, осенью – в виде хризантемы. Самого чаю – чуть: зеленая горечь, взбитая в пену венчиком вроде помазка для бритья. То, во что наливается напиток, не менее значительно, чем содержимое: обряд предписывает отдельное любование чашкой. И – вот подлинный урок для литератора – триумф композиции над сюжетом. Что за чем – существеннее, чем что. Порядок угощения важнее угощения.

В общем, не наешься и не напьешься. Вкусно, но мало. Нет, все-таки мало, но вкусно.

Пожалуй, это и можно счесть формулой японского застолья. Формулой его всемирного успеха.

Понятно, что при таком переносе усилий с насыщения физического на насыщение эстетическое особое внимание уделяется всем сопутствующим процедурам: до, после и во время самого поглощения пищи. Японская рукотворная красота еды – и в подаче и в подготовке.

Самая дорогая говядина в мире – “мраморное” мясо из Кобе. Корове подносят пиво, делают ей массаж, разговаривают с ней – размеренно и негромко. В суши-барах работают

только мужчины. У женщин температура тела чуть выше – всего, кажется, на полградуса, – но и такое отличие пагубно сказывается на рисе и его сочетаемости с рыбой. Рис для суши сдабривается малой толикой рисового же уксуса – для придания легкого аромата. Совсем чуть-чуть – так пользуется духами женщина со вкусом. Тонкие розовые лепестки маринованного имбиря играют роль шербета – освежают нёбо и гортань, готовя к следующей закладке. Ножи для разделки рыбы холят и лелеют, словно именное оружие. Они и есть именное оружие повара, буквально блестящий знак его доблести.

Специальной разделке подвергается рыба фугу – предмет вождения кулинарных камикадзе. Ежегодно в Японии умирают от яда фугу более сотни человек. При правильной разделке рыба безопасна, но смертельные ошибки случаются, и, казалось бы, чего проще – не есть ее вовсе, полно других. Но такое было бы слишком просто. Да и теория вероятностей дает благоприятные шансы. Взять того же меня: я съел в Киото суши из фугу, и ничего, никакой мемориальной доски на том заведении в Арасияма на берегу реки Кацура.

Идея сырой рыбы недолго смущает воображение новичка-европейца, воспитанного на варке, жарке, тушении и запекании. Прежде всего – это вкусно. И далее – это тонко. (Только в скобках упомяну отвратительное мне слово “полезно” – сырая рыба действительно полезна, но, по моему глубокому убеждению, полезно то, что вкусно: что поглощается с удовольствием, то и идет впрок.) Естественно, первое условие тут – свежесть.

В последний раз я разместился в Киото возле храма Тофукудзи в риекане – традиционной гостинице, где ложем служил расстеленный на полу фuton, под голову помещалась макура – наволочка, набитая гречневой крупой (должна за ночь прочищать мозги, я что-то не заметил), из мебели стоял столик высотой в ладонь. Через дорогу был суши-бар, где человек в высоком колпаке время от времени отказывался меня обслуживать по утрам, тыча пальцем в настенные часы: мол, приходи позже, не кормить же тебя вчерашней рыбой.

При всем том как раз в Киото – самая интересная в стране рыбная кулинария. Расположенный сравнительно далеко от моря – редкость для островной Японии, – город вынужден был придумывать для рыбы, которую сюда тащили через горы не одни сутки, различные способы сохранности: солить, вялить, мариновать, сушить. В заведении “Нисимура”, возле университета, я ел вяленую селедку в бульоне с лапшой. Описание блюда способно повергнуть в уныние или отвращение – в зависимости от темперамента, – но прошу поверить: вкусно. Не может быть невкусно уже потому, что за этим стоят столетия традиции.

Киото – традиция в наиболее вызывающем виде. Дело в том, что город на первый взгляд – совершенно современен. Не в той, разумеется, степени, как Токио. Все же Токио служит столицей последние почти полтора столетия, а Киото был ею десять веков. У Киото больше за плечами. Но старина здесь по-японски упрятана в современность, и новичок поначалу недоумевает: где же обещанные путеводителем две тысячи (!) храмов и святилищ? Они на месте, но их надо с умом и желанием искать и находить, получая гарантированное вознаграждение. Вот там, в монастырских садах, скрывшихся от времени, – лучшие места для гурмана. Потому что гурманство здесь – многослойное: ты ешь нечто вкусное, легкое и красивое, сидя на циновке, расстеленной на деревянной террасе в саду с видом на пруд, где тихо квакают лягушки. Вдруг на миниатюрном бесшумном водопаде звонко щелкает колено бамбукового желоба – и это единственное напоминание о том, что время все-таки течет.

Более наглядная старина – в квартале Гион. Здесь знаменитые матинами – деревянные планочные дома, такие, какими они были и пятьсот лет назад. Считанные метры по фасаду и до сорока метров в глубину, эти “спальни угрей”, как их называют, таят в себе дорогие тонкие заведения с гейшами. Европейцы долго путали их с гетерами, пока не зауважали, разобравшись, что гейша призвана услаждать ум и душу, но не тело. Стихи, музыка, каллиграфия, чайная церемония, сервировка – приложение сил гейш, которых очень мало, и все в возрасте, поскольку учиться надо, по сути, всю жизнь. Гейши приезжают на машинах, быстро проскаль-

зывая в раздвижные двери; на улицах Гиона можно встретить и рассмотреть только их учениц – майко: тонкие, почти прозрачные фигурки с набеленными лицами, сохраняющими любезную бесстрастность, когда турист просит сфотографироваться рядом.

В традиционном городе – изысканная еда. Что естественно, коль скоро кулинария – такое же достижение культуры, как поэзия и живопись. Блюда здесь именно что поэтичны и живописны.

В Киото подают суши, завернутые в листья хурмы: сами листья не едят, но рыба и рис пропитываются тонким особым ароматом. Используются и листья бамбука, персика, гингко: аромат различается. Точнее, должен различаться, но к этому пониманию надо взмыть. Моя провожатая по Киото – аспирантка-славистка Казуми Китагава – привела меня в закусочную на “Философской тропе” по пути от храма Гинкакудзи к храму Нанзендзи, где суши тоже были завернуты. Развернув и попробовав, я сказал: “Эти совсем другие”, имея в виду, разумеется, форму листьев. Казуми восторженно отозвалась: “Я знала, что вы сразу определите! Конечно, вы услышали аромат гингко!” Ага, прям щас взял и услышал. Но кто меня осудит за то, что я трусливо промолчал, только закатил глаза в блаженстве. Гингко же!

Как с английским газоном: чтоб достичь такого качества, надо стричь и поливать, стричь и поливать – и так пятьсот лет. Постигание японцев, достижение их уровня – дело безнадежное.

При всем этом японцы едят много, часто и увлеченно – таков один из первых культурных шоков, переживаемых в стране. Лелеемой в мечтах и вроде бы обязательной Фудзиямы не видать – она все время в туманной дымке, а вот еда мозолит глаза с утра до вечера. Правда, умудряясь при этом не мозолить желудок: лаконизм в японской кухне главное – суши не щи. (Хотя есть и подобие щей – набэ и его вариации: суп с капустой и рисовой разновидностью спагетти.) Едят тут еще и громко: в простых закусочных, где подают бульон с гречишной или пшеничной лапшой, шум стоит, как у плотины. Этикет не только не запрещает, но и предписывает хлюпать: значит, вкусно.

Так делают японцы, а стало быть, стоит принять во внимание. Вот чему учит Киото – вере в традицию, даже чужую, даже странную.

Расширение мира нарушает устоявшуюся иерархию ценностей, а живот ближе к сердцу, чем голова. И легче привыкнуть к мысли о том, что есть не менее читающие страны, чем признать превосходство шведской водки, итальянских белых грибов, норвежской лосося. Но в кулинарном мировосприятии нет места комплексу государственной неполноценности, тут господствует комплекс основных человеческих чувств – вкуса, обоняния, осязания, зрения. Оставим слух идеологии. На гастрономической карте мира свои масштабы, они меняются, и маленькая Япония у берегов огромной Евразии становится все больше и больше.

## Портвейн у камина

Крайний противоположный евразийский берег – Лиссабон. Он из тех немногих городов, которыми можно влюбленно увлечься. Не восхититься, не прийти в восторг, не полюбить даже, а именно испытать чувство влюбленности, приправленное нежностью и жалостью. Для столь интимной эмоции требуется неполное великолепие объекта. Некая изношенность, временная патина, признаки распада. Так бывают дороги потертый диван, поношенный халат, полинявшее платье.

Естественно, таких городов больше всего в Италии. “Естественно” – потому что из Италии все пошло, мы все оттуда. Даже те, кто не прочел ни одной книжки и не видал ни одной репродукции, в Италию не приезжают, а возвращаются. Таковы Венеция, Верона, Генуя, Мантуя, Перуджа. Там с первого раза возникает твердое убеждение, что здесь уже приходилось бывать. Без труда обходишься без путеводителя, а если возникают вопросы, их задаешь и получаешь ответы, не зная языка, – потому что жесты, потому что мимика, потому что улыбка. Потому что прапамять.

Италия в этом (как и во многих других) отношении – первая. Но не единственная. В Испании – Кордова, Толедо, Саламанка. Во Франции – Руан и Шартр. В Португалии – Лиссабон. Выбор произволен, и каждый назовет свое, но мотив един – негромкий, грустный, временами надрывный, лирический, сентиментальный. Под него не пританцовываешь, и хочется не столько подпевать, сколько подвывать – истово, но незаметно. Так звучит фадó.

Фадó – чисто португальское явление, сложное порождение песенного наследия африканских рабов, пропущенного сквозь заимствования из опыта мореплавателей и колонизаций, помноженного на европейский городской романс. Фадó можно было бы сопоставить с неаполитанской нотой в итальянской музыкальной культуре либо с цыганщиной в музыке русской. Но вряд ли стоит сопоставлять – лучше поставить диск Амалии Родригеш, ослепительной красавицы, умершей совсем недавно. Ее голос хотелось бы слышать всегда, если б не надобность зарабатывать деньги: что-то, а работать под фадó не предполагается.

Лиссабон – фадó в градоустройстве. Вернее будет сказать, в градоустройстве, потому что вставал Лиссабон, как всякий натуральный город, хаотично. Здесь был в XVIII веке свой преобразователь – маркиз де Помбаль, взявшийся перекраивать Лиссабон, почти уничтоженный землетрясением 1755 года. Помбалу удалось многое, но не все: словно сами по себе выросли кварталы Альфамы, скатывающиеся с холмов к реке Тежо (в своем течении по Испании – Тахо), широкой, как море. Повинуясь не верховным планам, а внутренним потребностям людей и их жилищ, пролегли улицы Байро-Альто – Верхнего квартала. В этих двух районах лучше всего слушать фадó, цедя за столиком портвейн. Собственно, эти районы и есть городское фадó.

Душевному декадансу томительных песен отвечает полураспад здешних зданий. Они – если не построены вчера – прекрасны.

Прежде всего – *azulejos*. Произносится – “азулежуш”. Это изразцы, шедшие в северных широтах на облицовку печей-голландок, а в Испании и Португалии – на все подряд. В Лиссабоне и Порту полно церквей, сплошь обложенных рядами азулежуш. В Альфаме и Байро-Альто глаз не оторвать от жилых домов, сверху донизу облицованных цветной плиткой дивного рисунка. Вся эта не виданная в иных местах красота помещается в контекст разрухи. Самой разрухи нет – речь, в конце концов, о столице современной европейской страны. Но есть изношенность, обшарпанность, траченность временем – то, что надобно городу, когда город из разряда не роскошных, а прелестных.

Лиссабон обаятелен и уютен, как все те же диван или халат. Оттого сюда можно и нужно приезжать зимой. В узких улочках среди пастельных стен – тепло. Еще тут хорошо зимой,

потому что в это время лучше всего пьется выдающееся португальское изобретение – портвейн.

Ничего не придумано лучше для кресла у камина, чем рюмка выдержанного портвейна. Кто спорит, хорош и старый коньяк или виски *single malt*, но сколько выпьешь коньяка или виски? Особенно если ты – дама. Портвейн все-таки вдвое слабее градусами, а тонкостью и богатством букета не уступит ни одному напитку на свете.

Портвейну исторически не повезло: кажущаяся легкость подделки породила множество видов питья из разряда *bormo-tukha*, в просторечном обиходе называемых тоже портвейном. Благородству портвейна настоящего это не повредило, но подпортило его общественное реноме. В Португалии проникаешься ощущением величия этого напитка.

Несомненно, в стране пребывания нужно пить местные зелья. Не только потому, что там они лучше, но и потому, что случайностей в естественном отборе не бывает: алкоголь столь же органичная часть культуры, как музыка. Кайпирина нигде не имеет смысла, кроме жарко-влажной Бразилии. Саке идет под сырую, а не под соленую рыбу. Прекрасное немейское вино я пил только в Греции – точно такое же по этикетке было куда хуже в других местах. Грузинские вина, особенно полусухие вроде киндзмараули, хванчкары, тетры, приемлемы лишь в Грузии. Лучший джин на свете – в Голландии, их джиневер под местную селедку и угря. Даже если не любишь сладкие вина, рюмка марсалы хороша под десерт в Сицилии.

Познание портвейна начинать надо постепенно, прогуливаясь, приближаясь. От Россио – центральной площади Лиссабона – пройти к причудливому сооружению из стальных кружев, которое называется *Elevador Santa Justa*. Этот лифт столетнего возраста поднимает из Нижнего города в Верхний. Оттуда кварталами Киадо – к кафе “Бразилейра”, сделав привал в его элегантно уюте. Кофе – национальная страсть португальцев, вполне объяснимая, если вспомнить, что они открыли Бразилию и веками владели ею.

У входа в “Бразилейру” на бронзовой скамье сидит бронзовый поэт Фернандо Пессоа, обожавший это заведение. Однако он перешел из телесного состояния в металлическое, заработав цирроз и все то, что образуется в человеке от огульного потребления напитков крепче кофе. Пессоа пил при этом изрядную фруктовую (из вишни или инжира) пакость ярких расцветок, а отнюдь не портвейн. Выбор, надо думать, определялся не столько вкусом, сколько карманом. Хороший портвейн дорог, но стоит своих денег, как платье от Лакруа или сапоги от Гуччи. На всякий случай не скажу, сколько мне стоила бутылка урожая своего года рождения.

Из “Бразилейры” мимо церкви Сан-Рок и парка с захватывающим видом на весь город – прямой путь на улицу Сан-Педро-де-Алькантара, где размещается основанный около семидесяти лет назад Институт портвейна. Сюда надо прийти, чтобы оценить масштаб явления. Прийти, разумеется, в сумрачный красивый бар на первом этаже, а не в лабораторию, где, наверное, тоже интересно и что-то такое разрабатывается, но в винном деле прогрессивнее всего – консерватизм: поменьше резких движений. Плавно достать бутылку, обтереть, очень-очень плавно открыть, еще плавнее налить, так же плавно (не залпом!) выпить. Не забыв перед этим погрузиться в плавную мягкость кресла – такова лучшая оболочка для пьющего портвейн. Если напротив камин – то это и есть Институт портвейна.

Здесь вам приносят винную карту толщиной с собрание сочинений Пессоа. Более трехсот наименований с описаниями. Тут, наконец, стряхивается наваждение памяти, в которой родиной портвейна запечатлелся Агдам, а не Португалия. На закуску можно попросить сыр, опять-таки не плавленый сырок юности, а нечто изящное типа *bleu*: французский рокфор, итальянскую горгонзолу, лучше всего – английский стилтон. Англичанам – фора. Без них не было бы портвейна, который когда-то назывался в Португалии английским вином.

Упрощенная схема историко-политэкономического процесса такова: Англия поставляла в Португалию шерсть и изделия из нее, загружаясь на обратный путь местным вином. Оно было дешевле французского, к тому же политические осложнения дважды побуждали Лон-

дон вводить запрет на импорт вина из Франции. Но в холодной Англии любили выпить что-нибудь покрепче, чем сухое вино: ром, джин, виски. Все в том же кресле у того же камина. Из этой потребности главные винные агенты англичан – португальцы – три с лишним века назад создали крепленый (18–22 градуса) портвейн.

Недолгое брожение виноградного сока искусственно прерывается добавлением коньячного спирта в пропорции четыре к одному. Вино стоит в бочках до весны, а потом переправляется в город Порту, где уже зреет в погребах. Надо понять: как не бывает коньяка не из района французского города Коньяк (остальное – бренди), так портвейн бывает исключительно из винограда долины реки Дуро на севере Португалии. И исключительно тот, который созрел в погребах Вила-Нова-де-Гайа – окраины города Порту. Такую демаркацию провел два с половиной века назад реформатор маркиз де Помбаль, и только наши дни глобализации и внедрения евро внесли коррективы, расширив зону портвейна до бессмысленных пределов. Новшества не сбивают с толку подлинных ценителей, помнящих о том, что само имя вина указывает на Порту и его окрестности.

Когда-то бочки в Вила-Нова-де-Гайа возили по реке на специальных судах – рабело. Теперь рабело, пестрые и нарядные, стоят на приколе, рекламируя портвейновые компании, а раз в год состязаются на потеху туристам. В прочее время года турист бродит от погреба к погребу, нанизывая имена фирм: португальские – *Fonseca, Borges, Ramos Pinto, Ferreira*, английские – *Sandeman, Taylor, Osborne, Graham*. Англичане остаются главными потребителями портвейна. В нынешнем мире все перемешалось, раньше-то было просто: первосортное вино отправлялось в Англию и другие европейские страны, второй сорт шел в свою колонию, Бразилию, и в Россию, где морозы случались чаще, чем в Англии, а знатоки попадались реже.

Туриста водят по длинным галереям, рассказывая истории о том, как Нельсон чертил лордам адмиралтейства план Трафальгарской битвы на столе, окуная палец в портвейн. Турист-новичок узнает, что основных видов портвейна – три. Белый – сухой и пьется в качестве аперитива. После еды в кресло к камину подаются *ruby* (рубиновый) и *tawny* (рыжевато-коричневый). А к ним в идеале – стилтон с бисквитами. Лиссабонские знакомые советовали сопровождать *tawny* паштетом: попробовав, рекомендую тоже. Говорят, неплохо идет под сигару – не пробовал, не курю. И разумеется, хороший портвейн хорош просто так.

В известном смысле портвейн – по-мужски крепкий и по-женски нежный – можно счесть идеальным, универсальным напитком. Это вообще приближение к идеалу, в который можно попробовать погрузиться, из которого трудно, да и не хочется выходить: у камина под звуки фадос с рюмкой портвейна. Зимой в Лиссабоне.



## Тепло модерна

Зимой тело и душа тянутся к уюту, и умственный взор блуждает в поисках идеальной обстановки. Не то что с первыми заморозками бросаешься перестраивать жилье, но помечтать всегда доступно. Немногие могут позволить себе смену домашних декораций по вкусу и капризу, но каждый способен внести в свое неодушевленное окружение черты вожаемого облика. Вопрос – чего именно вожаждать?

Зимой становится особенно понятно, что самый уютный интерьер – это ар-нуво. Так стиль назвали во Франции, где он родился и процвел на стыке XIX и XX столетий. Быстро, фактически одновременно распространившись по множеству стран, обрел разные имена: в Италии – либерти, в Германии – югендштил, в России – модерн.

Не вдаваясь в искусствоведческие сложности, можно сказать о главном в модерне: эти дома созданы не строительством, а ваянием, они произведения не столько архитектуры, сколько скульптуры. Что до интерьера, он не окружает, а заботливо обтекает человека. В такую обстановку не входишь, а погружаешься.

Отсутствие прямых линий и углов в 90 градусов пришлось по сердцу всему миру, да и не могло не прийтись: никогда еще не было стиля столь человекоподобного. Модерну оказалась суждена недолгая жизнь, в чем не его вина. Вина истории: революции и войны не располагают к плавным обводам. Возникший в короткий промежуток всеобщего процветания, наглядный, вызывающий, наглый, комфорт модерна вступил в противоречие с угловатостью и пунктирностью мира, начавшего отсчет нового столетия не с 1900-го, а с 1914-го, с Первой мировой.

Короткий расцвет был бурным, и модерн успел расставить свои вехи повсюду в таком количестве, что его лишь подсократила Вторая мировая. Париж, Нанси, Москва, Прага, Буэнос-Айрес, Будапешт: многие улицы этих городов по сей день – словно выставки модерна. На суровых широтах России теплый модерн пришелся как нельзя кстати, о чем знают жители Петербурга, Киева, моей родной Риги и других городов. Но первенство тут держит Москва, которой повезло с архитекторами. Изваянный Шехтелем особняк Рябушинского на Спиридовке – мировой шедевр. Максим Горький знал, где поселиться, чтобы не слишком ощущался перепад после Сорренто (там, замечу в скобках, он тоже занимал лучшую по тем временам виллу с видом на море и Везувий). Хороший вкус был у пролетарского писателя.

При всем обилии этого стиля в мире есть все же город, который безусловно претендует на титул столицы модерна. Барселона.

Претензии трудно оспорить, потому что только применительно к Барселоне можно говорить не о вкраплениях, а о цельном модерновом облике. Может, в Праге фасадов ар-нуво и не меньше, но Барселона вся – плавна и обтекаема. Достаточно обратить внимание на такую особенность: на перекрестках проложенных в начале века улиц срезаны углы тротуаров, так что образуется не четырехугольная, а восьмиугольная площадь – то есть тяготеющая к кругу.

Круг и овал господствуют в барселонских интерьерах. Здесь уютно в магазинах, галереях, ресторанах, квартирах – если повезет в них попасть. Может, одержимость Барселоны домашним уютом объясняет то, что здесь (на улице *Sancho d'AVila* в районе *Poble Nou*) есть уникальный музей – катафалков. Музей посвящен последнему передвижному дому человека, в котором он комфортабельно доставляется туда, где интерьер несущественен.

Город в истории вел себя заносчиво, отстраняясь от Кастилии, которую Каталония никогда не любила; отталкиваясь от Мадрида, с которым Барселона всегда соперничала. Здесь насаждали свое, особое – оттого, наверное, так истово культивировали модерн, чтобы отличаться от остальной Испании. Барселона и отличается. Во многом – благодаря таланту и усердию Антонио Гауди, который возвел в городе всего дюжину зданий, но определил его общий облик.

При взгляде на дома Гауди кажется, что их построил либо ребенок, либо впавший в детство старик. Свобода от всяческих условностей – удел младенцев, безумцев и гениев. Прихотливая свобода – главная черта модерна.

Стоит совершить прогулку по примечательным барселонским домам, что делать лучше всего зимой – потому что зимой приятнее заходить внутрь, любуясь интерьерами, а по пути еще и совершать привалы в барах и кафе на рюмку агуардиенте или хереса.

Вершина барселонского модерна, а может, модерна вообще – *Casa Mila* на углу *Passeig de Gracia* и *Carrer de Provenca*. То, что здание на углу, важно отметить, потому что оно причудливо изогнуто, так что напоминает не то прибрежную скалу с ласточкиными гнездами, не то – точнее! – волну под скалой. Здесь модерн и его апостол Антонио Гауди добились почти невозможного: гигантский жилой дом кажется природным явлением, причем не застывшим, а текучим.

Будто из “Тысячи и одной ночи” явилась *Casa Vicens*, только построен дом для антисказочного кирпичного магната Мануэля Висенса. В обстановке – странная, но обаятельная смесь европейского Возрождения с мусульманским Ренессансом. Если бы испанцы не выгнали арабов, а жили с ними бок о бок в мире, так, наверное, выглядела бы вся Испания.

Взглядом не охватить дворец Гуэль – он стоит неудобно, тесно. Но можно взобраться на крышу, оказавшись среди целого леса диковинных каминных труб, поражающих цветистой фантазией. И можно войти внутрь. Софа, словно сама собой выросшая из половины кресла. Туалетный столик, хитро изломанный, как кокетка перед ним, принимающая у зеркала трудную позу в порыве самоутверждения. И вдруг – стройные колонны перед окнами: всего 127 колонн во дворце, сверкающих на солнце серым отполированным камнем. Тут особенно ясно, что имел в виду Гауди, когда говорил, что архитектура – это искусство распределения света.

Диковинные декорированные потолки (так же у Шехтеля в особняке Рябушинского-Горького). Архитекторы модерна украшали их, как живописные полотна, не боясь, что с обитателей и гостей свалится кепка. Может, дело в том, что они не носили кепок?

Кругом мозаики, витражи, особенно много излюбленных каталонскими модернистами цветных изразцов – своих, испанско-арабских “асулехос”, родных братьев португальских “азулежуш”.

Модерн повсюду испытывал сочетания красок. Оттого, видимо, так любил цветочный орнамент. Обожаемый цветок – ирис, сокровенно эротичный, позволяющий при полном соблюдении невинности доходить почти до порнографии (художниками были только мужчины, а если б наблюдалось равноправие, не миновать бы еще и грибного орнамента).

Наиболее “обычное” здание Гауди – *Casa Calvet*. Это снаружи. Внутри же – дубовая мебель, чей дизайн вдохновлен мыслями о бренности бытия. Спинки, сиденья, перекладины, подлокотники скамей и стульев легко, но тревожно напоминают части человеческого скелета – лопатки, ребра, берцовые кости, тазобедренные суставы. На глаз такое выглядит не столь свирепо, как в описании, а сидеть просто удобно – я пробовал. Со временем ко всему этому одомашненному мака-бру, наверное, легко привыкнуть – так вставная челюсть раздражает и унижает, пока о ней не забываешь.

В *Casa Batllo* — виртуозно созданное впечатление дома, огромного изнутри. Винтовая лестница уходит будто в небо, а не на второй этаж (так же воздушно-монументальна лестница все в том же особняке на Спиридоновке). В гостиной, само собой, – ни единой прямой, но и ни одной ровной поверхности. Крыша едет почти буквально – оттого кажется, что попал не то в собор, не то в концертный зал, хотя это всего лишь скромная гостиная.

Плавные изогнутые очертания комнат превращают их в ячейки, выросшие естественным образом, а вовсе не построенные. Стены здесь не замыкают комнаты, а служат их декоративным оформлением. Двери – не для запора, а для раскрытия прекрасной сути. Жить внутри

произведения искусства кажется сложным, но вдумаясь: ведь живет в нем не кто-нибудь, а венец творения.

Испанская, каталонская Барселона раскрывает происхождение и смысл русского слова “помещение”. Уют и тепло жилья – это когда человек не находится, не располагается, а именно помещается в доме. В своем месте.

## Глоток бургундского

Уже в ближайшем от Парижа городе Бургундии, Сансе, все становится понятно. В центре – крытый рынок, из которого не хочется уходить никогда, и вообще-то не надо, потому что вкуснее и праздничнее не бывает нигде. Но напротив, через площадь, – собор Сент-Этьен, смесь романской и готической архитектуры, с самой богатой во Франции сокровищницей. В этом храме венчался Людовик Святой, тут же – надгробие отца того Людовика, которому отрубили голову в революцию.

Такова вся Бургундия – наслоение культурных пластов: история, архитектура, кулинария, вино. Впрочем, два последних понятия неразрывны. Алкоголь – лишь часть еды: перно или кир перед, вино по ходу, коньяк или кальвадос после. Несмотря на пропагандные усилия цивилизации, такой подход все еще поражает и трогает новизной север и восток Европы. По-настоящему эту тайну – вино часть еды – знают только в Средиземноморье, лучше всего во Франции, особенно в Бургундии, где производится 150 миллионов бутылок в год, больше половины из которых разносятся на экспорт в 140 стран.

Гастрономический рай провинции подтверждается статистически. Из двадцати семи ресторанов, удостоенных во всем мире трех звезд по классификации фирмы *Michelin*, двадцать один – во Франции. Четыре из них – в Бургундии.

Интерьер трехзвездного “Золотого берега” (*Cote d’Or*) в Солье на диво скромн, да и снаружи это простое желтоватое здание у дороги. До прокладки скоростных магистралей здесь проходила оживленная трасса Париж – Лион. Скромн и сам крохотный городок Солье, один из гурманских центров планеты. Монументальностью выделяются лишь церковь XIII века и статуя быка. Так запечатлена в веках и бронзе порода ша-роле. Светло-бежевые коровы веселят глаз на зеленых лугах, вкус – в бургундских харчевнях. Из них лучше всего получается бефбургиньон: рецепт прост, всего-то и нужны говядина шароле и приличное бургундское. Разумеется, положение (географическое) обязывает иметь это блюдо в меню *Cote d’Or*, но его владелец и шеф-повар Бернар Луазо более всего знаменит сочетанием традиционного мастерства и сногшибательной изобретательности. Коль скоро повара во Франции любимы, как оперные теноры и футбольные звезды, то Луазо – Пласидо Доминго и Зинедин Зидан. Суп из карамелизированной цветной капусты, лягушачьи лапки в петрушечно-чесночном пюре, эскалоп из утиной печенки с медальонами из репы, грушевое суфле с горячим шоколадным соусом остаются в тех закромах памяти, где предусмотрены полочки счастья.

Оттого я воспринял как личное горе самоубийство Луазо три года назад. Он застрелился, услышав, что его ресторану намерены оставить лишь две звезды. Слух оказался неверен, но Луазо об этом уже не узнал. За триста с лишним лет до этого Франсуа Ватель, повар и метрдотель принца Конде, устраивая обед для Людовика XIV, обнаружил, что не хватает рыбы, и бросился на шпагу. Рыбы хватило.

Все очень серьезно. Александр Дюма умер, работая над “Большим кулинарным словарем”, а заканчивали его Леконт де Лилль и Анатоль Франс. Повар пяти президентов Жоэль Норман пишет в мемуарах: “Содержимое тарелки президента укрепляет престиж Франции”. Сотрапезники за едой говорят о еде; столики в ресторанах и кафе обычно маленькие, чтобы быть поближе друг к другу, а тарелки большие, чтобы еда легла просторно и ее можно было разглядеть. Продавец подробно объясняет, как именно мариновать куриную грудку в бальзамическом уксусе, и в очереди нет раздражения, а если кто и волнуется, то потому, что хочет предложить свой вариант. Официант, разливающий суп, сосредоточен, как провизор.

Столетия даром не проходят. Изысканные мужчины и женщины Бургундии и вообще просвещенной Европы, явленные старой живописью и куртуазной литературой, в еде понимали мало. Количество было важнее качества, а отсюда следствие – вид важнее вкуса. Постро-

ить разноцветную пирамиду из дичи, запустить по винной реке карамельные каравеллы, соорудить рыбу из мяса, разместить в пироге жаворонков так, чтобы они задорно вылетели под главный тост, а не задохлись к чертям собачьим. Торжествовали все те же живопись и литература, как в нынешних московских ресторанах: застолье сильно выигрывало в описании (см. пир Ивана Грозного в “Князе Серебряном” А.К. Толстого). Весьма сомнительны гастрономические достоинства салата из соловьиных язычков, но воображение разыгрывается. Как-то на Сахалине браконьеры угостили лебедем, гордо проплывающим сквозь историко-литературные банкеты: съедобно, но и только, до банальной курицы далеко. В *Cote d’Or* курицу возносят до орлиных высот, особенно если это здешняя курица-брессе.

Однако Бургундия не была бы Бургундией, если б радовала только вершинами. Еще содрогается каждая жилочка от искусства Бернара Луазо, как на следующий день новое испытание – *routier*, придорожная забегаловка для шоферов-дальнобойщиков. Такое заведение безошибочно обнаруживается по обилию припаркованных фургонов и грузовиков. В *routi-er* — фиксированная плата при входе: сколько съешь. Вкуснейший обед в двадцать раз дешевле, чем в трехзвездном кабаке: изыска нет, но качество одного порядка. И уж совсем голова идет кругом у человека с иных меридианов, когда за те же деньги можно открыть кран и без конца наполнять кувшин добротным столовым вином. Небритые мужчины в больших ботинках и клетчатой фланели начинают виноградными улитками (в Бургундии – лучшее эскарго), завершают чередой сыров и не часто открывают кран. Зато кран и рот не закрываются у наблюдателя с иных меридианов – от изумления, а может, от внезапного прикосновения к способу жизни, которого всегда подспудно хотелось, но все сложилось по-другому.

Всякое путешествие – урок. Бургундское – урок яркий и поучительный. Бургундия – не набор явлений, будоражащих чувства и разум, а целиком такое явление. Не каскад аттракционов, а единый грандиозный аттракцион. Здесь с легкостью погружаешься в иную жизнь, робко догадываясь, что она не твоя, но и не чужая. Все мы, объединенные общей европейской культурой, – французы, американцы, русские, – более или менее отсюда.

Историческая судьба Бургундии сложилась причудливо. В ее прошлом – период XIV–XV веков, когда герцогство было самым процветающим государством к северу от Альп, его армия – сильнейшей, столица Дижон и тогдашние бургундские города – Брюгге, Гент, Брюссель, Льеж – блеском искусств уступали разве что итальянским, а Иеронимус Босх и Ханс Мемлинг, теперь проходящие в музеях по фламандскому и немецкому разделам, жили во владениях бургундских герцогов. После этого военно-государственно-художественного взлета наступил долгий период упадка и подчинения – сначала Габсбургам, потом Франции. В политическом отношении Бургундия – одно лишь прошлое, а упоминание о борьбе бургиньонов и арманьяков сейчас звучит как строчки из меню. Бургундия в известной мере законсервировалась, сохранив облик той давней Европы, который во многих других местах так искажен разрушениями и перестройками. Здесь нельзя проехать получаса, чтобы не встретить либо обаятельный городок с открыточной соборной площадью, либо замок из книжки Шарля Перро. Возврат в детство – общечеловеческое и свое собственное – ощущается неизбежно и волнующе.

Как нигде, тут уцелела уютная романская архитектура. Соборы перестраивали в новомодных стилях там, где бурлила история. Бургундия стояла на обочине, не накапливая заимствованное, а оберегая свое. Что делать: едва ли не вся рукотворная красота на земле сохранилась по ненужности, забывчивости или недоразумению.

Чистейший романский стиль – аббатство Фонтене, расцвет которого минул семьсот лет назад. Здесь жили монахи-цистерианцы, чья заслуга – виноделие Бургундии и начало коммерческого производства здешнего вина. Холодно и промозгло в их братской трапезной, в их монастырской церкви, в их общих спальнях залах, где дозволялся лишь тощий тюфяк на камнях. Поразительно это сопряжение: вино как живейший символ жизни и вызывающий отказ от простейших жизненных радостей. Впрочем, в монастыри уходили не столько за благочестием,

сколько за укрытием от насилия и бедности. Религиозный экстаз, как всякая роскошь – в том числе духовная, интеллектуальная, – был уделом лидеров.

Экстаз заводил на высоты как благодати, так и неистовства. Из Везеле – прелестного городка, славного своим аббатством, – начинались пути и смиренных паломников Дороги Сантьяго, и свирепых воителей Крестовых походов. Романские колонны храма Марии Магдалины хранят скульптурные группы, вызывающие оторопь детской наивностью и бесчеловечной жестокостью. “Бесчеловечной” – буквально: в жути казней, смаковании мучений угадывается точка зрения не человека, а самой истории, пусть и Священной.

Совсем иные – скульптуры собора Сен-Лазар в Отене. В “Искушении Христа” дьявол вовсе не страшный, а смешной, такому и захочешь – не поддашься. Три волхва спят, укрывшись, как беспризорники, одним одеялом, выложив бороды поверх, и еще не знают, что строго над ними – Звезда. “Лежащая Ева” в неуклюжей и оттого трогательной позе, с просто-душно-хитрым выражением лица – словно промежуточное звено между библейским прототипом и той женщиной, которую знает каждый.

Хочется думать, что монахи отенского, а не везелейского толка основали самое впечатляющее учреждение Бургундии – больницу в Боне. Город считается столицей бургундского вина, но вино здесь повсюду, а в Бон стоит приехать ради этого здания – одного из красивейших в провинции, да и во всей Европе. Снаружи почти неприметная за высокими стенами, больница раскрывается во внутреннем прямоугольном дворе, на который выходят фасады с крутыми шатровыми крышами из пестрой красно-желто-зелено-черной плитки. В длинном зале – ряды кроватей за темно-красными полами, с деревянными сундуками и медными грелками, и нет сил осознать, что так построено и устроено полтысячи лет назад. Больница – для бедных, бесплатная, благотворительная, лишь тридцать лет назад ее превратили в музей, до тех пор в ней лечили.

В основе благотворительности как социального феномена – покаяние. Каяться надо не просто молитвенно, но и действенно: на этом по сей день стоит гигантская многомиллиардная институция всевозможных фондов, грантов, пожертвований, без чего не было бы доброй половины больниц, учебных заведений, музеев, театров, фестивалей. Направления филантропии провозглашены как раз в средневековом христианстве, их семь: накормить голодного, напоить жаждущего, одеть голого, приютить бездомного, ободрить заключенного, навестить больного, похоронить мертвого. О развлечениях и праздниках там ни слова, но с ростом благосостояния роскошь начинает ощущаться как необходимость. Впрочем, в бонской больнице для бедных уже в XV веке заботились не только о лечении, но и об отделке одеял. Здесь хочется, как в школьном детстве, набить температуру на градуснике и улечься симулянтom в невиданной красоте.

Желание остаться, по крайней мере задержаться подольше, в Бургундии возникает подозрительно часто. Это, что ли, и называется – возврат к истокам? В столичном Дижоне, торговом Осере, микроскопическом Нойере, бродя по брусчатке кривых узких улиц, глядишь на автомобили и спутниковые антенны и вдруг понимаешь, что они – лишь цивилизационный нарост, не меняющий сути. Обиход неизменен – как глоток бургундского, как свой булочник и свой зеленщик, как петух в вине (*Coq au Vin* — не курица, а именно петух, не путать), как осенняя поездка за саблями в соседний городок Шабли, как стаканчик кира перед едой (четверть дижонского черносмородинового ликера *Creme de Cassis* на три четверти холодного белого вина, по классике – местного алиготе), как благовест своего прихода, как утренний багет и чашка кофе. Нетронутость главного – вот о чем Бургундия.

## Песни левантийской Ривьеры

В Риомаджоре уже к концу второго дня пребывания начинаешь ощущать себя старожилом. В газетном киоске, не спрашивая, протягивают миланскую “Корьере делла сера”, хозяин зеленой лавки говорит: “Сегодня белые грибы еще лучше, чем вчера”, бармен тянется за бутылкой артишоковой настойки “Чинар”, едва ты появляешься в дверях кафе.

Почувствовать себя не туристом, а жителем хоть на время – это возможно только в маленьких итальянских городках и деревушках, которые конечно же давно существуют не столько рыбной ловлей, сколько туризмом, но сохраняют при этом свой патриархальный уклад. В отличие от больших курортных мест, здесь живут для себя, и пришелец с этим должен считаться – с этим стоит считаться, потому что за таким переживанием сюда и едешь. Хрестоматийная курортная жизнь по соседству, но в стороне.

Итальянская Ривьера, равная французскому Лазурному Берегу по природной красоте и превосходящая его в скромном очаровании, уступает в респектабельности и отшлифованности – даже самое фешенебельное из здешних курортных мест, Сан-Ремо с его пышным цветочным рынком, со знаменитым песенным фестивалем. И по убывающей дальше на восток – Аlassио, Ноли, Савона, вплоть до Генуи.

Генуя – вопрос отдельный, это не курорт, хотя пляжи имеются. Столица Лигурии – один из главных в европейской истории городов с грандиозным прошлым и невыдающимся настоящим. Непомерная, на грани безумия, роскошь генуэзских церковных интерьеров – почти историческое напоминание о расцвете, вроде не по возрасту яркого наряда старухи. Великий порт, родивший Колумба и диктовавший цены всему западному миру, сейчас гордится разве что самым большим в Европе аквариумом. Интереснее всего в городе каруджи – узкие кривые улочки, причудливо переплетенные на широком склоне от центра вниз – к рынку, к набережной, к морю. Такое встречается еще только в Лиссабоне и Неаполе.

Но мы движемся дальше за Геную, на восток, по берегу Лигурийского моря. Там тесно друг к другу разместились: в горах над водой Рапалло, у воды – Санта-Маргерита-Лигуре, откуда одна из самых живописных дорог Италии ведет к Портофино. Здесь пик пришелся на 30-е годы, когда было модно приезжать сюда из Европы и Америки с мольбертами и виды Портофино тиражировались по миру. В конце 50-х отмечена вспышка активности, вдохновленная Элизабет Тейлор. Сейчас Портофино с пастельного цвета домами, изысканно облезлой штукатуркой, пологими зелеными холмами, виллами в кипарисах полон обаяния и той чисто итальянской прелести, которая порождается подлинностью и неприглаженностью. Свежих масляных красок сюда не завозят.

Мы уже в той части Итальянской Ривьеры, которая именуется левантийской – от Генуи до Специи. Она дичее и первозданнее. Тут нет многоэтажных отелей, собьешься с ног в поисках казино и не развернешься на маленьких каменистых пляжах. Берег здесь крут и сложен из дивной красоты слоистого камня – железнодорожный туннель в нем пробили, но и все. Километрах в шестидесяти за Портофино начинаются места, куда пробраться можно только поездом или – как пробирались веками – морем. Это – Чинкве-Терре.

Автомобильная дорога проходит высоко в горах, и, разумеется, можно приехать в эти края и так, спуститься сколько возможно, оставить машину на паркинге и забыть о ней на время, но в этом есть некое нарушение стиля. Городки Чинкве-Терре в самом центре современной цивилизации возвращают нас на несколько десятков лет назад, в доавтомобильную, дотуристскую эпоху – стоит сыграть в такую игру, пожить по ее правилам.

Чинкве-Терре – Пять Земель, Пятиземье. Или Пятиградье. Они следуют друг за другом цепочкой вдоль Лигурийского моря: Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола, Риомаджоре. Даже нельзя сказать, что эти пять городков стоят на море: они врезаются в берег,



укрываются в скалах, облепляя домами склоны и вершины, простирая улицу – одну главную улицу в окаймлении переулков – по руслу некогда протекавшей здесь реки.

Наша главная улица в Риомаджоре названа в честь Колумба. В доме № 43 по виа Коломбо мы с женой и поселились, сняв у сеньоры Микелини трехкомнатную квартиру с большой кухней за 70 долларов в сутки.

Цены в Риомаджоре скромны, хозяева приветливы, дома чисты и удобны. Поскольку в самом начале виа Коломбо расположены несколько контор по сдаче жилья – есть выбор. Можно снять квартиру наверху, над городским ущельем, чтобы нелегкий подъем вознаграждался изумительным видом с балкона. Мы обосновались в торговой части, в центре местного колдовращения жизни.

Пошли размеренные дни. Завтракать можно было дома, что мы и делали, покупая свежую буйволиную моцареллу, помидоры, зелень, сооружая омлет с травами, но пить кофе спускались вниз. Я покупал в киоске миланскую газету и из всех сил разбирал свежие новости, футбольные отчеты, прогноз погоды, заказывая и заказывая кофе.

Нелепо в Италии самому варить кофе, что мы делали в Нью-Йорке, делаем в Праге. Одна из загадок этой страны, которую я не могу разгадать уже двадцать с лишним лет: почему кофе в Италии гораздо вкуснее, чем где-либо в мире? Во Франции совсем неплохо, еще лучше в Испании, свое достоинство у австрийского, в Португалии – культ кофе, что-то вроде национального спорта с сочинением множества вариаций, понимают в этом деле бразильцы и аргентинцы. Но в любом вокзальном буфете итальянского города вам наливают в чашку нечто невообразимое. И ничего не понять: в конце концов, зерна ко всем приходят извне, из Латинской Америки или Африки, машины повсюду одни и те же. Что в остатке – вода? Это произведение коллективного народного разума, попадая в Италию, я пью по множеству раз в день. Утром – *cafe-latte* в высоком стакане с длинной ложечкой или капучино с горкой пены, после обеда – эспрессо, порядочный человек после обеда кофе с молоком не пьет. И по ходу дня – пять-шесть раз – макьято (*macchiato* — дословно “запачканный”): эспрессо с добавлением нескольких капель горячего взбитого молока.

После купания на крошечном местном пляже из черной гальки начиналась прогулка. Либо в горы вдоль виноградников и абрикосовых садов по склонам, либо по Дороге влюбленных – *Via dell'amore*. “Дорога” сильно сказано – это тропа по вырубленному в скалах карнизу над морем, и мало на свете троп прекраснее. По Дороге влюбленных можно дойти до соседней Манаролы, посидеть там с чашкой все того же кофе за столиком у воды и двинуться дальше, мимо разместившейся на вершине горы Корнильи – в Вернаццу. Тут по сравнению с Риомаджоре – почти столичный шик: есть музей чего-то, городской парк, крепость на холме, выходящая к бухте квадратная площадь с ресторанами по периметру. Можно перекусить тут: мы обнаружили очень недурное место с многообещающим и оправдывающим себя названием *Gamero rosso* — “Красная креветка”. Помимо водных тварей, там сказочно делают прославленный лигурийский соус к пасте – песто: не из фабричной банки, а на своей кухне истолченную деревянным пестиком в мраморной ступке смесь листьев базилика, орешков пиний, чеснока, пармезана, оливкового масла. Все ингредиенты есть во всей стране, но песто не из Лигурии – не песто.

В “Креветке” вкусно, однако еще лучше сесть в поезд, через двадцать минут оказаться в своем Риомаджоре и, поскольку на дворе сентябрь, купить белых грибов, нажарить их дома с чесноком и петрушкой и запить чудесным белым вином – легким и чуть терпким, которое так и называется – *Cinque Terre*.

В Пятиградье хорошее вино – это признают даже тосканцы, все, что не из Тосканы, презирующие. Мирового и даже общенационального значения ему не добиться: слишком мало виноградных лоз умещается на тесных горных уступах. Совсем ничтожное количество производится десертного вина *Sciacchetrà* (произносится “Шакетра” с ударением на последнем слоге),

чрезвычайно ценимого знатоками за тонкость и редкость. Давно, со времен своей рижской юности, завязав со всяческой десертностью и прочей бормотухой, я был посрамлен.

*Cinque Terre* считается классическим к рыбе и морской живности, но и грибы очень уместны. Вот еще одно из потрясений Италии и шире – потрясений российского человека вообще. Рушатся основы: водка лучше скандинавская, икра не хуже иранская, а изобилие белых грибов в осенней Италии добивает окончательно. Что ж остается? Ну, осетрина, этого пока не отняли. А так и самые привычные, с детства родные кулинарные радости уже за границей: миноги, шашлык, борщ.

Повалявшись после обеда, можно сесть на парходик и отправиться в цивилизацию: на запад в Портофино или на восток в Портовенере. Но неплохо отказаться от суеты, предаться тому, чему название придумано в Италии, – *dolce far niente* (сладкое ничегонеделанье), а место для ужина выбрано заранее. Ресторанчик у воды, с террасы смотришь, как темнеют море и небо. Долгий обстоятельный разговор с официантом – одна из радостей отдыха. Лексикон в две сотни слов плюс незнание грамматики – откуда берется полное взаимопонимание? Ведь обсуждаем не только заказанные блюда, но и внешнюю политику России, к чему подключается соседний столик, и итоги футбольного тура, на что из кухни прибегают с мнениями и прогнозами повара. Загадка того же рода, что и превосходство итальянского кофе. Все общие слова лишь на что-то указывают, толком не объясняя: национальный характер, темперамент, язык. Вот разве что язык – увлекающий и раскрепощающий чужака своей несравненной гармонической красотой, как бывает, когда неодолимо хочется подпевать незнакомой песне.

Как-то вечером мы вернулись к себе на виа Коломбо, распахнули ставни. Несмотря на темноту, на склоне горы светились пестрые стены домов, вверху рядом с четким силуэтом церкви неуместно висел мусульманский месяц. Идиллия нарушалась шумной веселой болтовней в соседнем кафе. “И чего разгалделись”, – заворчал я. Жена назидательно сказала: “Они галдят по-итальянски”. Я устыдился и заснул сразу.

## Города-герои

Города-киногерои бывают разные. Здесь – о тех, которые хорошо знакомы. Близки лично.

В Риге всех приезжих я первым делом водил на улицу Фрича Гайля (законное имя прежде и теперь – улица Алберта). Такого сгущения стиля модерн в одном коротком квартале, пожалуй, не найти даже в Праге или Париже. Дома строил Михаил Эйзенштейн, и легко было представлять, как рос во всем этом его великий сын. Броские метафоры “Броненосца “Потемкин”, сложные композиции “Бежина луга”, барочная вязь “Ивана Грозного”: всему можно подобрать соответствия в изысканных фасадах, оставленных Риге отцом Сергея Эйзенштейна.

Сам будущий режиссер покинул город семнадцатилетним, ушел в большой киномир. Всегда казалось странным, что Рига не стала киношным центром, ни одним достойным художественным фильмом здесь не похвалятся. А вроде к этому располагало все: и сильная театральная традиция, и техническое развитие, и богатство – Рига в начале XX века по материальным показателям была третьим после Петербурга и Москвы городом Российской империи. А главное, что было и есть, – атмосфера.

Речь идет о той легко уловимой, но трудно объяснимой категории, которая определяет лицо города. Сновидческая природа кинематографа сразу улавливает эту родственность или ее отсутствие, принимая или отвергая места. Рига для кино словно создана. В ней – необходимое сочетание ненавязчивой романтики, позволяющей додумывать реальность, с внятной очертаний и деловой трезвостью повседневной жизни. В ней, наконец, обилие простой наглядной красоты – зданий, бульваров, парков.

На протяжении полувека эта красота воспринималась экзотикой, которую отчаянно эксплуатировали в советском кино. Здесь помещался сразу весь Запад. Достаточно было прохода по брусчатке на фоне готики, чтобы становилось ясно, что персонаж уже в Европе. Улицы Смильшу и Пилс, церкви Екаба и Яня, площади Гердера и Домская, Бастионная горка и городской пруд были картинками внешнего мира для огромной страны. Как мы грустно веселились, глядя на героя фильма “Сильные духом”, кружившего и кружившего в открытой машине вокруг все той же церкви Святой Гертруды, изображая дальнюю поездку по европейскому городу. А как забавно наблюдать шерлок-холмсовскую Бейкер-стрит, снятую на рижской Яуниела: ну ничего похожего – если знать лондонскую Бейкер-стрит, но кто же ее знал.

Может быть, именно такая рижская полувековая судьба – быть чужим фоном – в противодействие породила здесь мощную школу не художественного, а документального кино. Герц Франк и Юрис Подниекс – имена, которые Рига достойно предъявляет на мировом киноуровне. На уровне социального картина ближайшего приятеля моей молодости Юрки Подниекса “Легко ли быть молодым?” – важнейший знак освобождения российской культуры.

Следующие семнадцать лет я прожил в Нью-Йорке – городе, который и есть кино. Именно он, а не Голливуд. Тут надо разобраться. Толковые еврейские ребята поступили совершенно разумно, основав киноимперию в Калифорнии. Там было все, что нужно: неосвоенные, а стало быть, дешевые территории; не зашоренные традициями и предрассудками люди; отсутствие пуританской морали, господствовавшей в начале XX века на американском Востоке. И главное – миф о золоте, которое в Калифорнии неленивые вынимают лопатами.

Однако штат, а тем более его самый населенный город, Лос-Анджелес, в кино, по сути, никак не отразились. Пресловутая “фабрика грез” потому и фабрика, что вся из цехов, то есть павильонов. Там можно построить что хошь – и строили. Вуди Аллен сумел разместить свой мир в двух десятках нью-йоркских кварталов – и это мир полноценный и самоисчерпывающийся.

Всегда было обидно, почему так мало экранизаций О. Генри. Есть выдающиеся – например, “Деловые люди” Леонида Гайдая. Но там только одна нью-йоркская новелла – “Родствен-

ные души” с Никулиным и Пляттом. Другие две – “Дороги, которые мы выбираем” и “Вождь краснокожих” – это Запад. Догадываюсь, в чем дело: и в случае Гайдая, и вообще о-генриевских экранизаций. Нью-Йорк – сам кино: такая съемочная площадка с непрерывным ритмом и рваным пульсом, что его не ухватить. Этому натурщику не прикажешь посидеть спокойно.

То-то Нью-Йорк не под силу никакому художнику (кроме все-таки О. Генри, он ухватил) – ни в литературе, ни в живописи, ни в кино. Вуди Аллен очень хорош в “Манхэттене”, в “Анни Холл”, в других нью-йоркских декорациях, но – это опять-таки двадцать кварталов, чаще всего вокруг Колумбийского университета. Мартин Скорсезе дал замечательный итальянский Нью-Йорк в “Злых улицах” – но только итальянский. Коппола в “Крестном отце” – выразительный, но снова итальянский бандитский. Неплох Бродвей у того же Вуди Аллена в “Пулях над Бродвеем” – но локален. Так слепые описывают слона: один взялся за хобот, другой за ногу, третий за хвост.

Дивным образом застывший в веках Париж кинематографу поддается. Город ведь тоже живой, но не меняющийся со второй половины XIX века, с перестройки, предпринятой тогдашним префектом бароном Османом – то есть до изобретения кино. Задавший тон Марсель Карне в своей “Набережной туманов” 1938 года продолжил плодотворную поэтическую традицию Бодлера, Верлена, Аполлинера – так до сих пор и идет по экранам реальный и мало-подвижный Париж. Страшную историю рассказывал мне знакомый, сидевший по политическим делам в советские 60-е. Им в лагере раз в неделю крутили кино. Шла допотопная “Набережная туманов”, и сидевший рядом с моим знакомым человек схватился за сердце и рухнул на пол. Он родился во Франции в семье эмигрантов, после войны вернулся в победоносную, предполагалось – обновленную Россию, с вокзала отправился в лагерь – и вот увидел на экране окна своей квартиры.

Другая кинематографически плодоносная застылость – мой третий ближайший, после Риги и Нью-Йорка, город: Венеция. Он-то не меняется уже почти полтысячи лет. Все главное на местах с XVI столетия, а уж с XVIII века – наверняка. Есть альбом, где на каждом развороте слева – картины Гварди или Каналетто, а справа – современные фотографии: разницы нет. Тем не менее Венеция продолжает и продолжает оставаться излюбленным местом съемок кинематографистов всех стран. И правильно: нет города, располагающего большим количеством разнообразных ракурсов. Этим, можно вывести умозаключение, и определяется очарование города: числом точек зрения. Скажем, при пешем передвижении по Зубовскому бульвару в течение многих сотен метров перед твоим физическим и умственным взглядом не изменится ничего. В Венеции, с ее узкими кривыми улицами, пересеченными каналами и мостиками, при удвоении всех зданий в воде и игре солнечных бликов на стенах, новая картина возникает практически с каждым шагом. Я давно уже не беру с собой фотоаппарат, потому что его хочется выхватывать каждую минуту. И очень хорошо понимаю, как хочется направлять объектив кинокамеры на все это великолепие.

Венецию стали снимать на следующий год после открытия братьев Люмьер, в 1896-м: это был Альберт Промео. А лучшая, по-моему, кинокартина города – в *Summertime* («Летнее время») 1955 года Дэвида Лина (автора “Моста через реку Квай”, “Лоуренса Аравийского”, “Доктора Живаго”): простая, непритязательная и внятная. А мне особенно дорогая, потому что в том самом месте, где в канал Санта-Барнаба свалилась Кэтрин Хепбёрн, однажды чуть не рухнул я, увлекшись выбором артишоков на овощной барже. Стандартно и нарядно показана Венеция во втором фильме бондианы с Шоном Коннери, в “Индиане Джонсе” с Харрисоном Фордом. Самый знаменитый венецианский кинофильм – “Смерть в Венеции” Лукино Висконти – тоже открывает мало нового. Зато подтверждает тягучую прелесть города, так убедительно сопровождаемую выматывающим душу “Адажиетто” из Пятой симфонии Малера. Зато Венеция диковинная, необычная и при этом правдивая, с реальными гостиницей “Габриэли”, церквами Сан-Николо-деи-Мендиколи и Сан-Стае – в фильме Николаса Роуга 1973

года *Don't Look Now* (“Сейчас не смотри”) с Джулией Кристи и Дональдом Сазерлендом. Там какой-то таинственный, хоть и в действительности существующий город, в котором, кажется, не предусмотрены Большой канал и площадь Сан-Марко, а только незаметные переходы и срезы углы, по которому перемещаешься таким образом, что на тамошнем диалекте называется “ходить по подкладке”. Я научился так передвигаться по Венеции и горжусь этим – потому, наверное, особенно ценю картину Роуга.

Москву снять почти так же трудно, как Нью-Йорк: она подвижна, многолика, тревожна. Вспоминаются “Я шагаю по Москве” Георгия Данелия и его же “Мимино”. Странный дикий (как в *Don't Look Now*) город в фильме Александра Зельдовича “Москва”, лихо снятый оператором Александром Ильховским. И – пусть будет обидно для отечественных кинематографистов – не сильно выдающаяся во всем прочем картина 1990 года *Russia House* (“Русский дом”) Фреда Скепси с Шоном Коннери и Мишель Пфайффер. Там нет любви, есть интерес: видно, это главное. В конце концов, объектив ведь и называется – объектив.

## Сага об исландцах

Гейзеры, о которых потом все спрашивают: “А это, ну как его, который фонтанирует, видал?” – пожалуй, самое бледное впечатление из всех памятных исландских достопримечательностей. Главный гейзер, так и называющийся – просто Гейзер (он дал свое исландское имя собственное всем гейзерам мира, сделавшись нарицательным), не извергается с 2000 года: какие-то тектонические сдвиги заткнули фонтан. Но рядом бьет другой гейзер – Строккур, примерно каждые шесть минут выбрасывая струю высотой до 15–16 метров. Но иногда – двух-трехметровую. Считается, что может достигать 25–30 метров. Чувствуешь, как тебя охватывает дурацкий азарт: когда взметнется струя? какой высоты? удастся ли поймать в кадр? Ну, шарахнуло, ну, вроде снял – потом на снимке ничего, кроме облака пара и перекошенных лиц разбегающихся зевак. И вообще, Строккур – лишь бронзовый мировой призер. Впереди два американских гейзера, с рекордсменом *Steamboat*’ом – 90–120 метров ввысь.

Если не гейзеры тут главное, то что же? По плотности природных чудес, их количеству на единицу территории Исландия в моем послужном списке занимает безусловно первое место. Водопады, горы, скалистые утесы, ледники, поля вулканической лавы, серные колодцы с клюкочущей иссиня-серой жижей, термальные источники, киты, птичьи базары... Всего этого – бесконечно много в небольшой стране. Вся размером с Ростовскую область, с населением – в три раза меньше Ростова.

Так и непонятно толком, чем достигла такого необыкновенного процветания Исландия, северным своим краем касающаяся Полярного круга. Правда, смертельно холодно там не бывает – остров омывается ответвлением Гольфстрима. Но лютой жарой считается 18–20 градусов, что бывает не каждый год. Обычная температура июля – 10–15. Все-таки несомненный север. А всех полезных ископаемых – только горячая вода из-под земли и рыба в океане. При этом средняя месячная зарплата – 4 тысячи долларов. По ВВП на душу населения – 5-е место в мире. По уровню жизни – 2-е, после Норвегии и перед Швецией. Первые в мире места по мобильным телефонам на все ту же душу, по пользованию Интернетом. Последнее в мире – по уровню коррупции. Летом 2007 года европейская организация “Новый экономический фонд” обнародовала новую классификацию, в которой страны разместились по способности обеспечить своим гражданам долгую счастливую жизнь, – тут Исландия первая, опередив Швецию и Норвегию.

На глаз каждая вторая машина – джип и его модификации. Есть в стране национальная дорога № 1, идущая вокруг всего острова, но есть внутри и грунтовые, которыми пробираются к дачам – культура дачных домиков существует, как ни странно это осознавать, глядя на вполне дачную, двухэтажную столицу. Да еще зима, и полярная ночь – короче, все подталкивает к большим вездеходным автомобилям. Ну и главное – много денег. А уж из всех этих мотивов складывается мода. И вот не только в провинции, но и на столичных улицах – сплошь японские *Land cruiser*’ы британские *Land rover*’ы, немецкие *BMW X5* или давшие имя всему виду крайслеровские *Jeep*’ы. Джипландия.

Здесь все дорого: жилье, одежда, еда, выпивка. Рука не поднимается заплатить в баре 15 долларов за бокал ординарного чилийского вина. Оставим эту печальную тему, и, чтобы ее окончательно похоронить, добавлю, что даже в магазине литровка местной водки из картофеля с добавкой тмина – брэнневина – стоит 68 долларов. Цена взвинчена в борьбе с пьянством: не зря этикетка устрашающе черная. А эту бутылку надо еще суметь купить. Алкоголь продается только в монопольных магазинах *Vin bud*, которых 47 по всей стране. В Рейкьявике куда ни шло – они работают с 11 до 18, но вот в городке Вик на юге страны я зашел в магазин, открытый с понедельника до четверга один час в день – с 17 до 18, в пятницу с 16 до 19, в уик-энд закрыт

вовсе. В обычных магазинах можно купить только слабое пиво, нормальное – тоже в *Vin bud*. Но ведь покупают, и пьют, и еще как, и вообще живут, и очень хорошо, богато.

Вот и бьешься над загадкой их преуспеяния. Ничего нет ни в земле, ни на ней: не растет. Расхожая шутка: если заблудился в исландском лесу – просто выпрямись. Из своих деревьев одни карликовые березы: метра полтора – уже гигант. Но идет впечатляющая кампания по посадкам, и в стране появляются целые рощи и перелески: привезенные из Сибири, с Аляски, с Альп березы, ивы, осины, липы, ели. Каждое лето сюда съезжается молодежь из разных стран – сажать деревья. Ландшафт заметно изменился за считанные десятилетия.

Повсюду в борьбе с эрозией почвы высажены травы и цветы – больше всего лилового аляскинского люпина, иногда сплошными шпалерами на сотни и сотни метров, так что исландское придорожье неожиданно напоминает Прованс с его полями лаванды. Как всегда в отношениях с живой природой, всего не предусмотреть: люпин украсил ландшафт и укрепил почвы, но овцы отказываются его есть – слишком горько. А пересаживать поздно: Исландия летом сделалась лиловой страной. Горько-лиловой.

Национальный цветок – мелкий бело-желтый ромашкоподобный горный гравилат, который повсюду. Тут цветы имеют обыкновение расти даже на плоском камне, вроде без трещин, но им, цветам, виднее. От этого нету ощущения северной пустынности: какое там, когда кругом в траве желтые ноготки, розовый ползучий чабрец, морская армерия, опять-таки розовая. В предгорьях – зеленоватые звездчатые шары анжелики: растения, примечательного более всего тем, что им ароматизируют водку. Из всех фруктов-ягод произрастают только черника и шикша.

Ищешь ответа и находишь подсказки, хоть бы этими деревьями и цветами, насаждаемыми с несравненным исландским усердием. Вот Акурейри – северная столица, ихний Петербург, стало быть. Здесь, у Полярного круга, самый северный на планете ботанический сад с вавсю цветущими в июле сиренью и маками. Вообще в Исландии культ всего летнего – что понятно, учитывая краткость теплого периода. Чуть выглянет солнце, как немедленно на тротуары выставляются столики кафе, а женщины ходят без чулок и с открытыми плечами – это градусов в тринадцать. Благодаря парникам, работающим на термальных источниках, в стране, где вовсе нет фруктовых деревьев, а на земле растут лишь картошка и капуста, множество не только своих овощей и фруктов, но и цветов. Рейкьявик броско украшают подвесные клумбы, укрепленные на уличных фонарях. И уж конечно красочный разгул в ботаническом саду в Акурейри.

По саду расставлены таблички со стихами исландских поэтов. В стране не просто поголовная грамотность, не просто первое в мире место по издаваемым книгам на душу населения – тут практически все умеют писать стихи. Великие образцы под рукой. Поскольку древненорвежский язык, на котором говорили пришедшие сюда в IX-XI веках викинги, за тысячу лет изменился мало, исландцы могут свободно читать свои саги. Мало литературы выразительней и самобытней. Какие имена! “Норвегией правил в то время Харальд Серый Плащ, сын Эйрика Кровавая Секира, внук Харальда Прекрасноволосого”. Или вот еще наряднее: “После убийства Эйольва Дерьмо и Храфна Драчуна...”

И уж конечно в сагах – не превзойденное никаким иным эпосом, простодушно-зверское описание кровавых битв: “Скарпсхедин подросел раньше, ударил его по голове своей секирой и разрубил ему голову до зубов, так что они упали на лед”; “Торбьерн вонзил двумя руками копьё в середину Атли”. “Они теперь в ходу – эти широкие наконечники копий”, – сказал Атли, принимая удар, и упал ничком на порог”; “Кольскегг рванулся к Колю, ударил его мечом так, что перерубил ему ногу в бедре. Тот стоял некоторое время на другой ноге и смотрел на обрубок своей ноги. Тогда Кольскегг сказал: “Нечего смотреть. Ноги нет, это точно”. А вот леденящий душу средневековый мультфильм: “Кари узнал его и, обнажив меч, кинулся на него



и нанес ему удар по шее. Коль как раз отсчитывал серебро, и, отлетая от туловища, голова сказала “десять”.

То, что исландские викинги первыми побывали в Новом Свете, признается сейчас научным большинством. Американцы, отмечающие День Колумба как национальный праздник, приняли-таки Лейфа Эйриксона, достигшего Америки на полтысячи лет раньше Колумбовой экспедиции – в 1000 году. Возле самого высокого здания страны – 75-метрового храма Халль-grimскиркья в Рейкьявике – стоит памятник Лейфу, подаренный Исландии Соединенными Штатами.

Вообще-то они похожи, генуэзец и исландец: оба попали не туда, куда собирались, – Колумб плыл в Индию, Лейф в Гренландию. Сага рассказывает об этом путешествии: “Долго его носило по волнам, пока не пригнало к странам, о существовании которых он и не подозревал. Там были поля самосеяной пшеницы и виноградная лоза”. Спор, что за земля это была, продолжается до сих пор. Понятно, что Америка, но где именно? Убедительные гипотезы называют нынешний штат Нью-Джерси и даже остров Лонг-Айленд, то есть современный город Нью-Йорк.

“Корабельная лодка была вся заполнена виноградом... Лейф назвал страну по тому, что в ней было хорошего: она получила название Виноградной Страны”. Умели привлекательно называть – Винланд: вино-то у них было только привозное издалека, бешено дорогое, а тут грузят в лодку, как сушеную рыбу.

Мастерство слова – виртуозное. Отец Лейфа – Эйрик Рыжий – за двадцать лет до исторического плавания своего сына открыл Гренландию, решил там обосноваться и был заинтересован в притоке переселенцев. Вот как описывает его блестящий пиар-ход сага: “В то лето Эйрик поехал, чтобы поселиться в открытой им стране. Он назвал ее Гренландией, ибо считал, что людям скорее захочется поехать в страну с хорошим названием”. По-честному надо бы поменять именами Гренландию и Исландию, Зеленую и Ледяную страны.

Когда осознаешь, в каких бытовых условиях жили эти викинги, закрадывается подозрение, что в путешествия просто-таки рвались. Жилище да и вся жизнь в Исландии – все изменилось, когда здесь научились перегонять воду из термальных источников для обогрева домов. Кипящая вода бьет из-под земли повсюду: то, что в других странах вызвало бы пожарную тревогу, тут нормальное зрелище – поднимающиеся клубы дыма. Только это не дым, а пар, вырывающийся с пронзительным шипением. Трубопроводы сооружены так, что на десятках километров температура падает всего градусов до восьмидесяти, и приезжих предупреждают быть поосторожнее с краном горячей воды – можно обжечься. Но все это начало развиваться только в 40-е годы XX века. До тех пор бились в тесных землянках.

Я был в тщательно, научно реконструированном доме Лейфа Эйриксона. Покрытая дерном крыша, сложенные из торфа стены с обшивкой из досок: Лейф – вождь, богач – мог позволить себе импортное дерево. В исландской мифологии аналоги Адама и Евы созданы из двух кусков дерева, прибитых морем к берегу. Это как же надо ценить древесину, чтобы возник такой миф!

Низкая узкая дверь ведет в тесное помещение с полатами по стенам: спали по двое. Топить-то нечем, согревались теплом друг друга. Полати несоразмерно короткие: чтобы набить в помещение побольше людей, спали полусидя. Идеино обосновывая бытовую потребность, викинги считали, что во сне лежа может остановиться сердце. Ладно, это тысячу лет назад. Но даже дом столетней давности – такие здания в назидание потомкам сохранены во многих местах – почти ничем не отличается. Те же торфяные стены и крыша из дерна, та же теснота, то же спанье по двое полусидя. Столовая была редкостью: ели, сидя на постелях, держа на коленях индивидуальный деревянный горшок с крышкой.

Разве не чудо, что полугодовыми полярными ночами в немыслимой холодной тесноте возникали идеи государственного устройства, принятые цивилизованным человечеством. В Исландии старейший в мире парламент – альтинг.

В долину Тингвеллир на две недели каждый год съезжались жители страны, чтобы принимать насущные решения стратегии и тактики. Альтингом парламент называется и в наше время, только расположен он в центре Рейкьявика. Поскольку депутатов всего 63, сложностей с акустикой в зале нет, а вот тогда, когда залов не было вовсе, высокая, широкая и крутая скала Легберг в Тингвеллире работала звукоотражателем, подобно тому, как использовались склоны холмов в древнегреческих театрах: выступающих слышали далеко вокруг. Из-под той же скалы 17 июня 1944 года была провозглашена независимая (от Дании) Республика Исландия.

В Тингвеллире занимались и другими серьезными делами. По тектоническому разлому течет речка, образуя пороги и затоны – в одном из них издавна топили неверных жен. Утоплено бесчисленно, сохранились имена лишь 21 изменницы XVII–XVIII веков. Чтобы речка была поглубже, викинги пробили в скалах русло, так что струится красивый водопад. Заботливо думали о смерти – не о своей, о чужой.

Здесь же в 1000 году провозгласили принятие христианства. Как повсюду, язычество приспособляло новую веру к своим обычаям. Собственно, язычество до сих пор окончательно не побеждено нигде, даже среди самых наихристианнейших народов, набитых суевериями, которые восходят уж конечно не к Писанию. Викинги понимали Иисуса как прибавку к сонму своих богов: “Слыхал ли ты, – спросила она, – что Тор вызвал Христа на поединок, но тот не решился биться с Тором?” Новый бог – теперь уже Бог – благословлял на то, что было принято и достойно раньше. В “Саге о Ньяле” рассказывается о слепце Амунди, который оказался в доме своего заклятого врага и уже собирался уйти: “Когда он проходил через дверь землянки, он обернулся. Тут он прозрел. Он сказал: “Хвала Господу! Теперь видно, чего Он хочет”. Затем он вбежал в землянку, подбежал к Лютингу и ударил его секирой по голове, так что секира вошла по самый обух... И как только он дошел до того самого места, где прозрел, глаза его сомкнулись снова, и с тех пор он оставался слепым всю свою жизнь”.

Господь выступает не Спасителем, не Искупителем, а подельником. Впрочем, точно так же у Гоголя в “Тарасе Бульбе” Иисус Христос сажает рядом с собой погибшего в бою атамана Кукубенко, который только что “иссек в капусту” другого христианина – правда, католика. Нормально: если я за Бога, то ведь и Бог за меня. Во всем.

По статистике, не менее половины исландцев верят в троллей, эльфов и упрятанных в горах “скрытых жителей”. Национальный спорт – этих существ выискивать в скалах и лаве. Они ведь могут принимать любое обличье – орла, лошади, человека, рыбы. В игру легко втягиваешься, и вот уже весь автобус на разных языках выкрикивает, тыча пальцами. Горы – как облака: увидишь что или кого угодно. На полях лавы вообще можно гадать, как на кофейной гуще, только ростом надо быть с гору. Или вертолет иметь.

Если бы меня зачем-то попросили назвать самую диковинную из исландских диковин, я бы выбрал поля вулканической лавы.

Гектары триллера. Наглядный пример диалектического перехода количества в качество: безобразие, доведенное до красоты. Тут и сложившиеся непонятным образом причудливые строения, которые так и называются – Черные замки. И недавняя, из извержений XX века, густо-угольная лава. И более ранняя, поросшая зеленовато-белесым мхом – словно километрами разложили цветные профитроли. Самая впечатляющая – Лава Берсерков – названа так не зря: кажется, эти каменные заросли могут пройти только бойцы того викингского спецназа, впадавшие в самозабвенный раж, нечувствительные к боли, которые творили в бою богатырские чудеса, а потом их сутками было не добудиться. До сих пор не ясно, чем так заводились берсерки: то ли гипнотическим внушением, то ли мухоморами.

Хрусталик глаза, натренированный на средиземноморских пейзажах, с трудом преломляет зрелище лавы, поля которой в Исландии всюду – 11 процентов территории страны покрыты ею. Вот Василий Розанов пришел от лавы, которую видел на склонах Везувия, в ужас: “Лава гадка. Есть для нее неудобное в печати сравнение. Черные горы навалены одна на другую, ползут, скашиваются, переламываются, пучатся пузырями и пещерами и, наконец, вьются переплетающимися жгутами, очевидно, вчера жидкие и огненные, сегодня черные и холодные”. Розанов пишет в 1901 году. Другая эстетика, основанная на гармонии. Когда позади XX век, с его катаклизмами в жизни и в искусстве, представления о прекрасном не то что изменяются, но расширяются сильно.

Насмотревшись на горы, лаву и водопады, понимаешь, что главная наука для Исландии – геология. Вулканы разрушают, лава покрывает, термальные воды греют. Исландцы считают, что их катаклизмы оказали мощное влияние и на мировую историю. Грандиозное извержение вулкана Лаки в 1783 году донесло до Франции облака пепла, которые уничтожили урожай и вызвали народные волнения, завершившиеся Великой французской революцией. Не сказать, чтобы общепризнанная теория.

Вообще-то Исландия, находящаяся, по замечательному английскому выражению, *in the middle of nowhere*, посреди нигде, держится особняком, предназначенным ей географией. Правда, на карту мирового масскульта она попала еще в 1864 году: со снежной вершины Снефелсйокюль на узком полуострове Снефелснес, вдающемся в Атлантический океан, начали свою авантюру герои романа Жюль Верна “Путешествие к центру Земли”.

Исландия редко принимает участие в важных мировых делах, не попадает на первые полосы газет. Даже в Европейский союз не вступает, потому что тогда ей пришлось бы соотносить с другими права и акватории рыболовства – главного промысла страны. С рыбой как раз и связано попадание Исландии в выпуски новостей. Это так называемые Тресковые войны с Великобританией. Исландцы с 50-х годов расширяли зону своих территориальных вод: в 52-м – до четырех морских миль, в 58-м – до двенадцати, в 71-м – до пятидесяти и, наконец, в 75-м – до двухсот миль. Всякий раз англичане были не согласны и продолжали ловить треску в местах очередного запрета. Сети срезались, траулеры таранились, шли перестрелки с участием катеров исландской береговой охраны и британских военно-морских кораблей. Все утихло в 76-м: Лондон признал 200-мильную зону.

Что до российского человека, его внимание Исландия захватывала дважды. В 1972 году в Рейкьявике игрался матч за титул чемпиона мира по шахматам. Американец Бобби Фишер на пути сюда вдребезги разнес Тайманова, Ларсена и Петросяна, в Исландии встретившись с действующим чемпионом Борисом Спасским. Возбуждение в советской прессе было огромное, Фишера заранее уничтожали, что с издевательской лихостью запечатлел Высоцкий: “Не мычу, не телюсь, весь – как вата. / Надо что-то бить – уже пора! / Чем же бить? Ладьею – страшновато, / Справа в челюсть – вроде рановато, / Неудобно – первая игра”. Спасский достойно сопротивлялся, но победил Фишер – 12,5:8,5.

Второй раз Рейкьявик вошел в российскую жизнь эпохально. Судьба страны, да и мира – без всякого преувеличения, именно судьба и именно всего мира – решалась в скромном, едва ли не деревенском доме на берегу океана в стороне от центра столицы страны, “посреди нигде”. Двухэтажный дощатый *Hofdi Hous* — одно из двух самых важных в российской истории зданий. Первое – Зимний дворец в Петербурге, с захвата которого в 1917-м началось превращение России в СССР; второе – Хефди Хаус в Рейкьявике, со встречи в котором Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в 1986-м началось возвращение СССР в Россию.

Сейчас русские тут редки. Даже разведчикам Исландия ни к чему. В феврале 2007 года окончательно покинула остров американская военно-воздушная база в Кефлавике, недалеко от международного аэропорта. Я даже взгрустнул. В начале 70-х на срочной службе в полку радиоразведки советской армии подслушивал переговоры американских баз в Европе с само-

летами, каждый день в течение двух лет записывая позывные: *Keflavik air-ways! Keflavik air-ways!* Давно нет той воинской части в Риге, а теперь вот и базы в Кефлавики.

Наш гид, уроженка Маврикия Бьянка Мишел, вспомнила одного русского, когда мы вышли на черный пляж из вулканического песка и гравия. Скалы там стоят невиданными каменными букетами, наклоняясь иногда над водой – с них бы и прыгать. Но куды – вода в июле 5 градусов. “В прошлом году, – говорит мне Бьянка, – в группе был один русский, он пошел купаться”. Застегиваясь поплотнее, приосаниваюсь: русский след.

Следа этого мало, но есть: самый, вероятно, известный в мире исландец – разумеется, после певицы и актрисы Бьорк – пианист и дирижер Владимир Ашкенази. Выиграв в 1962 году Конкурс имени Чайковского, он в следующем году уехал из СССР, женившись на исландке, и впоследствии стал гражданином Республики Исландия. Когда мы ездили по стране, я за завтраком в отелях прилежно рассматривал утренние газеты, разбирая кое-что в разделах погоды и спорта. Однажды утром увидел крупный портрет Ашкенази и попросил гида разъяснить – по какому поводу. Оказалось – юбилей, семидесятилетие. Когда Бьянка узнала, что я с ним немного, но знаком, заметно зауважала: тем более ее муж – местный композитор и музыкант.

В старые времена русский след был отчетливее. Читаю в саге: “Халльдор, сын Снорри, был в Миклагарде с Харальдом конунгом... и приехал с ним в Норвегию из Гардарики”. Этот Харальд был женат на Елизавете Ярославне, дочери Ярослава Мудрого, при дворе которого в Киеве долго жил. А Гардарики – это Русь. Хорошее имя – веселое, безобидное. Эти норвежцы и исландцы и были теми самыми варягами, о которых до сих пор не ясно – не столько историкам, сколько идеологам истории: хорошие они или плохие, их позвали или они сами пришли, в наемниках они ходили у русичей или в начальниках. В целом упоминания о наших предках в сагах редки и малозначительны: “На Торкеле русская меховая шапка”.

Свои меха тут тоже есть: единственное подлинно исландское животное – песец. Остальных завезли, и они расплодись на приволье. Множество овец и лошадей. По закону, овцы могут бродить где угодно, они и бродят – бессмысленно забираясь на высоченные скалы и уходя туда, где нет ни одного строения на протяжении десятков километров. Ну, летом там и ночуют, но к зиме-то их надо собирать. Овец сгоняют с помощью лошадей – это единственное практическое их применение. При том, что конское поголовье страны – несметное.

Немного продают за границу – в северные страны, где ценятся невысокие, крепкие, привычные к холодам лошади. Ну, катают туристов: популярность набирают конные туры. Ну, катаются сами. Ну вот, загон овец – но сельским хозяйством в стране занимается один процент населения, то есть три тысячи человек. Пока что традиционные промыслы приносят доход, рыболовство в первую очередь. Тридцать пять процентов валютных поступлений – от рыбы, но уже тридцать – от туризма, и отставание сокращается. А уж фермы всюду переделывают в отели – в одном таком, замечательном, мы ночевали. Объяснение изобилию лошадей одно – страсть. Национальная гордость. Вам наперебой расскажут, что у всех лошадей мира четыре аллюра, а у исландской – пять. Помимо шага, рыси, галопа и иноходи – еще какой-то “тельт”, шаг-бег, такой плавный, что всадник сидит как на стуле. Зрелище и вправду странное, особенно когда на конском шоу запускают музыку кантри местного извода.

А вот собак очень мало. Можно предположить, сказываются три фактора: низжайшая плотность населения, где все друг друга знают – некого остерегаться; отсутствие хищников; нет растительности на открытых пространствах, что позволило использовать для загона овец лошадей, а не собак, как повсюду.

Остальная живность – в небе и в воде. Даже не пытался я разобраться в многообразии птиц – всех этих чаек, крачек, трясогузок, овсянок. Выбрал себе любимца – красноклювого *puffin*’а, который по-русски обидно именуется “тупик”. Хоть бы “пуфик”. Он ведь еще и съедобный и вкусный, один недостаток: в рейкьявикском ресторане “Лакьярбрекка” – 65 долларов порция.

Птицы живописно гнездятся в прибрежных скалах, изрезанных так прихотливо, что кажутся увеличенными пляжными скульптурами из песка: дворцы, арки, мосты, башни. Скалы к тому же в живописных белых разводах – даже экскременты тут красивы. В изящной бухточке приткнулся рыбный порт Арнастапи, где с кораблей выгружают треску, – все беленькое, аккуратненькое: не рыболовство, а чистописание.

Повсюду вдоль берега обнаруживаешь останки китов. То часть хребта, то челюсть длинной метра два. На китов охотились издавна и продолжают охотиться. Китовые стойки подаются в дорогах ресторанах Исландии (как и Норвегии) – если не знаешь, подумаешь, что говядина. Хотя во всем мире в 1986 году был наложен запрет на коммерческий китобойный промысел, Норвегия, Япония и Исландия так или иначе его нарушают. В исландском случае это по меньшей мере странно: туристы, выходящие на катерах смотреть китов из Рейкьявика, Хусавика и других портов, приносят в пять раз больше дохода, чем охота.

Я выходил в такой трехчасовой рейс. Смотреть китов – дело азартное и рискованное: не в том смысле, что опасное, а что ненадежное. Днем раньше с нашего корабля не увидели ни одного кита – у нас же их было много. Четыре-пять китов появлялись на поверхности раз тридцать: иногда над водой мелькал лишь хвост, иногда, блестя на солнце лакированными боками, с грузной грацией отставного спортсмена не столько выпрыгивала, сколько переваливалась вся китовья туша.

Не менее увлекательно было следить за группой молодых японцев, которые, заплатив за поездку немалые деньги и послушно облекшись в теплые комбинезоны и прорезиненные оранжевые плащи, все три часа играли в карты, не повернувшись к океану. Похоже, они получили не меньшее удовольствие, чем остальные: лица, во всяком случае, у них были счастливые – а это ведь главное, правда? И вели себя тихо – когда все отчаянно вопили при каждом появлении китов, от картежников лишь изредка доносилось сдержанное страстное мычание. Да и то сказать – не концерн же “Мицубиси” был там на кону.

В океане больше всего ловится треска, а в мелких и быстрых исландских реках столько лососей и форелей, что в стране свыше десятка рек по имени *Laxa*, что значит Лососевая. Стоимость лицензии на ловлю, в зависимости от обилия рыбы, условий обитания, снаряжения и, главное, от моды данного сезона, колеблется от 300 до 4000 долларов в день. Повторяю для слабовидящих: четыре тысячи долларов в день на самой престижной Лаксе, лососевом Куршевелле.

В школе бы отдельной дисциплиной изучать этот народ, построивший процветающее свободное государство среди ледников и вулканов. Никакого другого ответа на вопрос об исландском богатстве нет, кроме самих исландцев.

В центре страны – немеренные незаселенные пространства. С севера на юг едешь по пустынному плоскогорью. Справа и слева – снежные вершины. Посредине – ничего. Ни-че-го. Плоские нашлапки бледной травы на камнях, крохотные белые и розовые цветочки. За двести километров встретились четыре велосипедиста и три джипа. Непонятно. Где-нибудь в Гоби кругом и живут, как положено в Гоби. А тут – богатейшая страна мира. Не осознать.

За Голубой горой робко начинается зелень – даже удивляешься: отвык. Исландцы издавна привыкли верить в “скрытых жителей”, обитающих в скалах. Они такие же, как мы, только нет вертикальной впадинки между носом и верхней губой. Живут так же, ведут хозяйство, обзаводятся семьей, только их не видно. Иногда они выходят в человеческий мир и помогают людям, прося что-нибудь взамен. Может, благосостояние в Исландии построили “скрытые жители”? Но что же они потребовали за это?

## II. За скобками года

### Город Старика Хоттабыча

Настоящая жизнь Сочи началась в годы НЭПа, а расцвела при Сталине. Эти два временных обстоятельства, а не только пляж (галечный, неважный по качеству) и море (часто бурное, до середины июля довольно холодное) надо держать в памяти, обсуждая примечательность единственного большого российского курорта.

То теплое, что досталось сократившейся стране, тянется всего на 400 километров вдоль Черного моря от Тамани до Адлера. И если едешь на машине, то на развилке в Джубге подумаешь-подумаешь и свернешь все-таки не на север, к Геленджику и Анапе, а на юг, к Сочи.

Что до сувениров-трофеев, они по всей черноморской России одинаковы: 1) ракушки – непригодные, но непременно для пепельниц; 2) розы в коробках, начинающие вянуть уже в самолете; 3) кубанское вино, равно безрадостное в розлив и бутылочно; 4) вкусные и красивые чурчхелы, которые делают не только из виноградного и гранатового сока, но по-декадентски из абрикосов, персиков и груш.

Что до климата и условий, на севере подичее, кто любит, на юге – покомфортабельнее, не говоря о субтропиках с 60 процентами солнечных дней, цветущей магнолией с мая по октябрь и собой самим на неизбежной горе Ахун, где до тебя снимались миллионы, так и ты снимись и всем безжалостно разошли.

Однако для любителя основная приманка Сочи не в этом. Здесь – заповедник былого величия. Такие можно разыскать и в других местах, но в Москве все разбросано да и заслонено новым гигантизмом; центр Минска – в другой стране; в Комсомольск-на-Амуре не долететь. Сочи – концентрат. ВДНХ, растянутая узкой полосой вдоль моря. Ампи́р на ампи́ре и ампи́ром погоняет. Большой Сочи – 145 км от Шепси до Псоу (не пугаться – это названия рек). Но главное – от реки Мамайки до пансионата “Светлана”: десять километров побережья, десяти-километровый Курортный проспект.

Начать стоит с сада-музея “Дерево дружбы”. Посаженный в 30-е (хорошее словосочетание!) цитрусовый интернационал: 45 видов лимонов, апельсинов и пр. на одном стволе. Однако дружба тут не грейпфрута с мандарином, а тех, кто делал прививки, оставляя бумажки с именами: Гагарин, Хо Ши Мин, Поль Робсон, весь чемпионат СССР по шахматам – 1300 дружб. Подсустились как-то и Ломоносов с Дарвином – не стоит задумываться как: ты уже в мире мечты, терпи.

Не пройти мимо музея по точному адресу: дом Островского на улице Корчагина. В конструктивистском особняке писатель успел прожить всего год до смерти. В 50-е построили музей в том стиле, который называли сталинским ампи́ром. Именно в начале 50-х этим монументальным военизированным классицизмом триумфально застраивали Сочи – Морской вокзал, вокзал железнодорожный – по образцам конца 30-х (Зимний театр).

Более всего классическая сочинская эстетика разгулялась в привилегированных санаториях, что понятно: простой житель страны мог самым буквальным образом сойти с ума. Не зря же в фильме “Старик Хоттабыч” несчастный волшебник, попадая в Сочи, решает, что очутился во дворце султана. Мраморные дуги лестниц, бронзовые фонтаны, фрески, мозаики, лепнина, колонны (предпочтительно коринфского ордера: капусты больше). Попад в начале 90-х в одно из таких чудес, я обошел внутренние покои, где оказалось скромнее, но с достоинством, – на черной доске выбито золотом: “Кефир 22:00–22:30”.

На последнем сочинском “Кинотавре” показывали фильм Юлия Гусмана “Парк советского периода” – о некоем Диснейленде, где за приличные деньги можно на две недели переме-

ститься в дотошно воспроизведенное прошлое. Картина снималась в Сочи. Содержание фантазмагорическим не представляется.

## За скобками года

Мы с приятелями проехали перевал Доннера в горах Сьерра-Невады, постояли у мемориальной доски в память группы переселенцев из Иллинойса, которые застряли здесь в снегах зимой 1846 года. Их было девяносто человек, они разбили лагерь, постепенно съели всех выючных животных, потом собак, кожаную одежду, затем принялись за умерших товарищей. 48 полубезумных выживших предстали после перед судом по обвинению в убийстве и людоедстве и были признаны невиновными: такие лишения лишают рассудка.

После этой бездны подавленный выезжаешь к баснословной красоте и покою озера Тахо, как к оазису покоя и благополучия. Гигантское, в пятьсот квадратных километров, неподвижное, ослепительно изумрудное зеркало, окруженное соснами. Вода прозрачна так, что кажется: все пятьсот метров глубины просматриваются насквозь.

Мы двинулись по берегу, ища место поуютнее, и оторопели. Вдруг, словно споткнувшись, исчезли сосны и пошли дома впятеро выше деревьев, пустынный берег резко перестал быть таковым, усеявшись какими-то непляжными людьми с нездоровым цветом лица. Наконец мы поняли: въехали из Калифорнии в Неваду – единственный в США штат, где разрешены азартные игры. Вот здесь тебя арестуют за простой блек-джек, а через два метра упруешься в шикарное казино. Мы опрометью бросились назад в калифорнийскую глушь и остановились в Скво-Вэлли.

Впервые я попал в столицу зимней Олимпиады. Закрыт каток. Пустуют все сто горнолыжных трасс. Из тридцати трех подъемников работает один, и на нем поднимаешься в гору, откуда озеро Тахо становится еще величественнее. Глядя на всю неработающую спортивную мощь, отели, рестораны, магазины, кафе, из которых открыта едва одна десятая часть, легко воображаешь, что тут творится с ноября по апрель, что творилось в 1960-м, когда здесь проходили Олимпийские игры. Того, что открыто, тебе и таким, как ты, хватает, и ты бродишь по этой заброшенной роскоши, как по покинутому обитателями дворцу – он весь твой.

С тех пор я бывал в других олимпийских городах: в зимних – летом. В Лейк-Плэсиде на севере штата Нью-Йорк, Иннсбруке в австрийском Тироле, Лиллиехаммере в Норвегии, Гармиш-Партенкирхене в Баварии, Кортине-д'Ампеццо в итальянской провинции Венето, каждый раз убеждаясь, что именно “непрофилирующий” сезон придает главную прелесть месту. Так человек открывается ярче всего не в профессии, а в хобби. Ремесло может быть случайным: родители заставили поступить в определенный институт, переехал в другой город и сменил специальность, пошел туда, где больше платят, и т. д. Хобби же натужным не бывает, быть не может: выбирается по влечению души. Так и города интимнее, трогательнее, убедительнее открываются не парадной, а изнаночной своей стороной.

То же относится и к летним курортам, в которые так интересно приезжать зимой. Пустая каннская набережная Круазетт. Ветер, один гуляющий по пляжу в Марбелье. Заколоченные дачи Куршской косы. Щемящее обаяние Ялты в декабре. Мое Рижское взморье, куда я, повзрослев, никогда не приезжал летом. Человек оживляет и украшает пейзаж, но обилие людей его уничтожает. Помимо этого, есть еще одно обстоятельство, которое афористично выразил Иосиф Бродский:

Приехать к морю в несезон,  
помимо материальных выгод,  
имеет тот еще резон,  
что это – временный, но выход  
за скобки года...



Ты переворачиваешь время собственным своеволием, и ощущение волшебной силы придает тебе гордости и восторга.

## Самый западный русский город

В прошлом, что ли, году я в очередной раз приехал в Карловы Вары – как всегда, в дни кинофестиваля, – поселившись в гостинице “Кривань”. Портье, с которым я объяснялся по-английски, заметно страдал, а когда выяснил, что владею русским, даже рассердился. Подняв палец, назидательно сказал: “Надо понимать – Карлови Вари русский город”.

Это точно. Нет ни одного питейно-пищевого заведения без русского меню. В любом отеле – российское телевидение. Весь сервис пользуется тем дивным наречием, которое не только понятно, но и расширяет представление о родном языке. “Креветки на способ тигра” – это на закуску. На горячее – трогательная до слез “ножка молодой гуси”. До обеда можно сходить на процедуры “отстранение морщин” и “избавление от храп”, а после – отправиться на экскурсию, чтобы увидеть “архитектоническое единство в стиле ренезанца”.

За ренезанцем куда-то возят, потому что в самих Карловых Варах царит стиль модерн. Курортная часть города представляет собой ущелье, по дну которого вьется узенькая речка Тепла. Элегантные дома взбираются направо и налево по крутым склонам. Наверху – настоящий лес, и, поднявшись туда на фуникулере, можно часами бродить по тропам, редко-редко встречая мечтателей, уже опившихся целебной воды, изможденных жемчужными ваннами и мануальным лимфодренажем.

По обоим берегам Теплы – променады, уставленные шедеврами зодчества конца XIX – начала XX века. Расцвет Австро-Венгерской империи: Карлсбад тогда пережил свой высочайший взлет. Вообще-то горячие источники тут открыли, по легенде, в XIV столетии, когда в этих местах охотился император Карл IV и его собака рухнула в кипящий водоем. Карл настоялся и, поскольку бывал уже на водах в Италии, понял, какую можно получить компенсацию за пса.

С тех пор на карлсбадских водах бывали все – проще назвать, кто не был. Аристократы лечились тут от подагры, прочие – от желудочных невзгод. Гёте приезжал тринадцать раз, и можно пройти зеленой окраиной города по “гётевской тропе”, так она и называется. Маркс писал здесь “Капитал”, Тютчев – “Я встретил вас, и все былое...”. Петр Первый, Батюшков, Гоголь, Тургенев... Красивая православная церковь во имя Петра и Павла. Вокруг главного карловарского источника, бьющего фонтаном высотой 12 метров, возвели нечто несуразное для этого места – серое бетонное: понятно, в какие времена, тогда же и назвали без затей колоннадой Юрия Гагарина, вверх же бьет. Фонтан на месте, имя другое.

Русские так давно освоили Карловы Вары, что теперь присвоили – и это кажется почти логичным. Говорят, три четверти недвижимости тут принадлежат россиянам. Уточнить невозможно: иностранцы в Чехии не имеют права этой самой недвижимостью владеть, но почему-то очень даже владеют. В Карловых Варах – редчайший случай мирной и благотворной российской экспансии за границу. Впервые я попал сюда летом 1995 года, и былая роскошь лишь угадывалась в обшарпанных темноватых зданиях, а уж будущая пышность и не предполагалась.

Русский анклав – западнее Вены, Берлина, Неаполя. Русская речь – в колоннадах с источниками, имена которых и температура воды указаны на бронзовых табличках. Отдыхающие принакают к изогнутым носикам изящных кувшинчиков. Что-то из *той* жизни, из старых романов. Правда, кружевных платьев и широкополых шляп не видать – все больше панамки и пляжные шлепанцы. Но в дни кинофестиваля Карловы Вары осеняет светская жизнь и смокинги, бабочки, обнаженные плечи выглядят так органично в великолепных декорациях города.

## У Лукоморья

У главного чуда мировой литературы точные географические координаты – 55 градусов северной широты и 45 с половиной градусов восточной долготы. Болдино. Сколько ни учи в школе, немыслимо вообразить, что за три месяца – сентябрь, октябрь, ноябрь 1830 года – можно столько написать такого. “Повести Белкина”, “Маленькие трагедии”, две главы “Евгения Онегина”, “История села Горюхина”, “Домик в Коломне”, “Сказка о попе и работнике его Балде”, тридцать стихотворений (“Бесы”, например, или “Для берегов отчизны дальной...” ) – так не бывает. Еще ведь письма.

К Большому Болдину (в пяти километрах от него есть и Малое, которым владела тетка поэта Елизавета Львовна) ближе всего из заметных городов Саранск и Арзамас, но стоит отправиться из Нижнего Новгорода. Ведь сам Нижний хорош: чередование холмов и оврагов, мощный краснокирпичный Кремль, жилые дома начала XX века. На главной улице, Большой Покровской, – дивный образец модерна, Государственный банк постройки 1913 года, изнутри весь расписанный по эскизам знаменитого Билибина. Покровка теперь, по примеру Европы, уставлена уличной бытовой скульптурой: городской, чистильщик обуви, мальчишка-скрипач, барыня с ребенком. У драмтеатра на деревянную скамью уселся чугунный здешний уроженец – Евгений Евстигнеев. Ближе к слиянию Волги и Оки, у подножья Кремля, поставили копию Минина и Пожарского, которая тут выглядит органичнее, чем на Красной площади, и отсюда – лучший, быть может, городской вид во всей России: с перепадами рельефа, башнями, стенами, луковками храмов. В двух минутах оттуда на Кожевенной – та самая ночлежка из горьковской пьесы.

В Болдино стоит отправиться из Нижнего и потому, что дорога спокойна и красива, а названия попутных мест – каждое есть поэма: Ржавка, Утечино, Опалиха, Кстово, Студенец, Холязино... Переезжаешь речку по имени Ежать – вроде с орфографической ошибкой: не то ехать, не то лежать, не то... Речка Пьяна – тут за три года до Куликовской битвы упившееся русское войско во главе с нижегородским князем Иваном Дмитриевичем было перебито отрядом ордынского царевича Арапши. Пьяный князь Иван утонул, а Арапша сжег Нижний. Пили только пиво, брагу и меды, водки еще не знали. Все равномерно: водка, к сожалению, есть, но нет, к счастью, Арапши поблизости.

Проезжаем Большемурашкинский район, на территории которого, километрах в двадцати друг от друга, родились два непримиримых врага, два неистовых героя русской истории – протопоп Аввакум и патриарх Никон. Вот какие большие мурашки водятся в нижегородских землях!

В Болдине, если подгадать в болдинскую осень, можно застать ярмарку с антоновкой, грибами сушеными и солеными, брагой, пшенной кашей с тыквой. А то в обычные дни на рынке из даров местной природы – мороженые куры и бананы да китайские штаны. Над рыночным галдежом и ревом грузовиков – огромный транспарант: “Приветствую тебя, пустынный уголок...”, на унылом параллелепипеде кинотеатра – “Я памятник себе воздвиг нерукотворный”: вот этот?

В праздник Лукоморьем назначен берег усадебного пруда, и есть русалка на ветвях, закутанная в зеленый газ, – хорошенькая, из театра “Комедия”. В кроне елозит, тараторя, кот ученый в плюшевом костюмчике, правда, дуб жидковат, кот забрался на соседнюю ветлу, она покрепче. Но рядом – все настоящее. Здешняя усадьба, в отличие от Михайловского, – то самое здание, в котором жил Пушкин. Выходишь на веранду, вдруг осознаешь, что 7 сентября 1830 года вот тут складывалось “Мчатся тучи, вьются тучи...”, – и кружится голова.

## Туман на болоте

Октябрь – баскервильское время, там все происходило в этом месяце. В Девоншире, на юго-западе Англии, уже настоящая осень: можно попасть в полосу дождей, но если повезет – свежо и приятно, а уж воздух такой, какой должен быть в национальном парке, где нет промышленности, а единственное крупное предприятие – принстаунская тюрьма, упомянутая у Конан Дойла. Доктор Ватсон брюзжит правильно, поминая “унылость этих болот, этих необъятных просторов, впрочем не лишенных даже какой-то мрачной прелести”. Холмы, долины, покрытые кустарником и невысокими деревьями, озера, переходящие в болота.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.